

— как чиновник государственной службы. И очень у нас строго... А как мы не имеем удовольствия знать вас, то разговаривать нам не безопасно. Так что, будьте любезны, ваше имя—отчество, фамилию и местожительство.

Сидевший рядом со мной человек с интеллигентным лицом, в серебряных погонах (как я потом узнал, помощник пристава), поморщась, заметил:

— Это совершенно лишнее.

Но Николай уже вынул свою визитную карточку и положил на стол. Я последовал его примеру. Карточки пошли по рукам. Иные из околоточных, прочитав наши имена, любезно улыбались и обращались к нам:

— Очень приятно познакомиться.

Другие молчали. «Митинг» явно не клеился. Наконец, толстый, грузный человек, сидевший у самой двери, произнес решительно:

— Дозвольте мне высказать...

На него замахали руками:

— Молчи лучше. Что ты, Сафронов, скажешь?

— То я скажу, что у всех нас на душе. Дайте сказать!

— Ну, говори.

Сафронов поднялся.

— Вот, господа, мы собрались, наконец. И гг. вольные с нами. А разговор у нас не идет. Почему это? А потому, что нужно каждое дело по порядку делать. Правильно я говорю? Порядок, прежде всего! Значит, сперва нужно выпить, потом закусить, а уже напоследок, когда мы гг. вольных лучше узнаем и гг. вольные к нам привыкнут, — напоследок будем разговаривать.

— Правильно! зашумели околоточные.

— Ай-да Сафронов! В самую точку попал.

Оратор скромно сел. Вызвали поваров. Долго совещались относительно вин и закусок. Наконец, решили:

— Тащи всего, что есть.

На столе появились три огромных подноса, — один с бутылками всевозможных калибров и цветов, два другие с закусками. Появились также рюмки, стаканы, тарелки. Сперва пили и ели молча. Затем мой сосед в светлых погонах сказал:

— Ну, господа, пора приступить к предмету собрания. Г. Лисевич, потрудитесь доложить.

Околоточный с рыжими усами прокашлялся и, оправив мундир и шапку, начал:

— Гг. вольные! Мы — чиновники государственной службы и должны соответствовать своему назначению. А жалованье нам положено самое маленькое, так что жить нам, прямо заявляю вам, невозможно. Вот я про себя скажу: я человек образованный, — «Биржевые Ведомости» читаю, жена моя на рояли играет, дочка в гимназию бегает. А на сорок рублей в месяц разве это возможно? Ну, комнату в квартире сдаю, жильца пустил и, простите, сам же ему самовар ставлю и ботинки чищу. Это на государственной службе! Чиновник! А у других и того хуже бывает, когда детей много... Что же тут греха таить, что иные из нас со стороны пользуются, то есть, берут благодарность...

— Ты то сам не берешь? буркнул чей то недовольный голос.

Но Сафронов добродушно заметил:

— Чего там? Все берем. На жалованье разве проживешь? Смех, право!

Лисевич продолжал:

— Жалование — это первая статья, а есть еще и другие обстоятельства обозначенные. Думали, думали мы, — решили за себя постоять. Союз, что ли устроить или совет депутатов?... А затем петицию к самому генералу!¹⁾ Только за дело приниматься мы не умеем, и потому, гг. вольные, на вас вся надежда, — научите, как быть!

Я ответил, что идея создания союза чинов полиции представляется мне вполне разумной, что за границей такие союзы существуют давно, что полицейские, по своему материальному положению, принадлежат к неимущему населению и должны идти рука об руку с другими группами трудящихся.

Моя речь (особенно ссылка на Европу) понравилась: со всех сторон потянулись рюмки, — спешили чокнуть со мною и выпить за мое здоровье, — этот жест заменял здесь аплодисменты заводских митингов.

Николай предложил приступить к выработке новых окладов жалованья.

— Предлагаю, сказал он, положить околоточным 200 р. в месяц.

Послышались возражения:

— Много! Этак генерал с нами и разговаривать не станет.

После долгих споров установили, что при поступлении на службу околоточный должен получать 50 р. (или, может быть, 60 р. — не помню точно цифры, но помню, что она была довольно скромная).

¹⁾ «Генералом» околоточные называли Трепова.

Затем за каждые три года «беспорочной» службы — прибавка (не то 5, не то 10 р. в месяц).

Лисевич снова взял слово:

— Теперь к другой статье можно перейти: на счет погон и лампасов.

И он объяснил нам, что околоточные, состоя на государственной службе, имеют право на погоны чиновничьего образца со звездочками, а вместо этого их заставляют носить «ни то, ни се, чорт знает что». Равным образом, и установленную форму штанов околоточные считают унижительной для своего достоинства.

Я предложил эти вопросы, как второстепенные, отложить к концу, но в собрании поднялся шум:

— После жалованья это самая главная статья.

Мой сосед шепнул мне:

— Народ у нас темный, с ним время нужно. Не настаивайте...

Я последовал разумному совету. Перешли к следующему вопросу.

— Большое место полицейского дела, докладывал Лисевич, это личности, не соответствующие своему назначению и позорящие честь мундира. А откуда такие личности? Назначают к нам неизвестно кого. Офицер, простите за выражение, проворовался, — его бы в арестантские роты следовало, а ему дают назначение в полицию. И выходит, дела он не знает, распорядиться не может, а власть свою показывает, а ты тянись перед ним. Через это нашему брату ходу нет, хотя весь порядок в столице на нас, на околоточных, только и держится.

Записали требование: «Помощники приставов и пристава должны выбираться из числа околоточных, зарекомендовавших себя беспорочной службой, обладающих служебным опытом и пользующихся доверием и уважением населения».

Я предложил распространить это правило и на высшие полицейские должности, вплоть до полицеймейстера, но последовало возражение:

— На это генерал никак не согласится, — и разговаривать не станет.

Сделали перерыв и с удвоенной энергией налегли на бутылки. Языки развязались. Беседа стала более шумной, говорили все сразу.

Трофимов, со слезами умиления на глазах, произнес речь:

— Уж как хорошо, господа! Так хорошо оно вышло, что сказать не могу! Давно ли гг. социалисты на полицейских, как на врагов, смотрели? Давно ли полиция про гг. социалистов только плохое и думала? А теперь! Вместе, за одним, можно сказать, столом... Пьем, закусываем, разговариваем, всю нашу жизнь рассказываем. Теперь через гг. социалистов мы в люди выйдем, всех наших прав добьемся...

Кто то перебил его робким вопросом:

— А что мы скажем, если сюда сам пристав или кто еще постарше заявится?

Сафронов ответил:

— Скажем, что полиция гуляет. Оно нам не заказано!

— А на счет гг. вольных как об'ясним?

Наступило смущенное молчание. Коновалов вывел собрание из затруднения:

— Скажете, что знакомых шпииков из Охранного Отделения пригласили для компании!

Как мог бы я поверить в эту минуту, что когда-нибудь узнаю, что этот человек, действительно, был охранником!

Возобновили прерванную работу, — принялись вырабатывать дальнейшие требования.

Я предложил околоточным отказаться от участия в политических обысках. Голоса в собрании разделились.

Одни говорили:

— Гоняют по ночам, неизвестно куда, спать не дают. Не наше это дело, раз мы — городская полиция.

Но Лисевич возразил:

— Нельзя, господа, все сразу. Что генерал скажет? Прибавки, скажет, требуют, а от работы отказываются. Сдурели, скажет, мои околоточные. И разговаривать не станет.

Коновалов поддержал его:

— Я тоже считаю, что от службы отказываться нельзя!

Я решил, что Николай выпил сверх меры, и, наклонившись к нему через стол, тихо, но решительно сказал ему:

— Вы пьяны и не понимаете, что говорите. Молчите! Если вы скажете еще хоть слово, я встану и уйду.

Коновалов рассмеялся и также шопотом ответил:

— Хорошо, я вмешиваться не буду... Только вы психологии ихней не понимаете... А если я выпил, так это даже лучше для дела.

И он снова налил себе.

Окружающие, повидимому, не заметили нашей стычки. Но мое предложение относительно обысков отклонили.

В список требований внесли пункт об отказе от собирания собачьего налога и от распространения «Ведомостей Градоначальства».

Затем, составили обращение ко всем околоточным столицы с призывом объединяться и записываться в союз. В начале воззвания говорилось о борьбе рабочего класса за свои требования и о том, что рабочие явили всем русским гражданам пример сплоченности и сознательности. С большим сочувствием вспоминались также заслуги Совета Рабочих Депутатов.

Воззвание это было написано моей рукой, но, по справедливости, моя роль в создании этого документа была не велика: я лишь записывал то, что предлагали околоточные, при чем старался сохранить не только их мысли, но и форму выражения.

Когда покончили с этим делом, кто-то из околоточных предложил:

— Нужно бы еще одно воззвание выпустить, — ко всему населению. Пусть все знают, что мы — люди, а не черная сотня.

— Это верно! послышалось со всех сторон.

— Скажите, господа, обратился я к собранию, верно ли, что градоначальство заставляет вас распространять погромные воззвания?

— Только «Ведомости»! ответил за всех Лисевич: Может быть, там есть что погромное, — мы этой газеты не читаем, а больше «Биржевку» или «Листок».

Да никто «Ведомостей» не читает, — кому охота время терять?

Другой околоточный объяснил мне:

— Бывает, пьяный к тебе подойдет, — ну, дорогу спрашивает, или что в этом роде. Ты ему раз'ясняешь, а прохожие видят, околоточный с обывателем говорит, вот про себя и соображают: «О чем это полиция разговаривает? Не иначе, как погром готовят!» Очень это нам обидно.

Под хор жалоб на незаслуженное недоверие со стороны населения я принялся писать проект воззвания.

— Вставьте о назначении полиции в свободном государстве, шепнул мне мой сосед, помощник пристава.

Составленное мною воззвание было принято восторженно. И окрыленный успехом, я предложил ввести в список требований новый пункт: об из'ятии полиции из ведения градоначальства и о безраздельном подчинении ее демократическому городскому самоуправлению.

— Это лучший путь завоевать доверие населения! уверял я.

Сафронов поддержал меня:

— Опять же и спокойнее будет, работы сразу убавится на половину.

Возражающих не оказалось.

В заключение обсудили вопрос о возможности забастовки петербургской полиции в поддержку выработанных требований. Собравшиеся считали забастовку возможной, — но только не сразу, а после подготовки. Просили меня и Николая позаботиться, чтобы левые газеты побольше писали

о тяжелом положении полиции. В частности, просили опубликовать выработанные требования и воззвание к населению.

Снова и снова горячо благодарили нас, и на этом мы расстались.

Я хотел, было, уплатить нашу долю за угощение, но околоточные запротестовали:

— Что вы? Вы наши дорогие гости! А с хозяином у нас свои счета.

Из гостиницы я отправился на комитетскую явку и дал там подробный отчет о проведенном «митинге». Вечером у меня было какое-то собрание, и домой я вернулся лишь поздней ночью.

Дома прислуга встретила меня тревожным сообщением:

— К вам полиция приходила.

— Какая полиция?

— Два околоточных. Очень беспокоились, что дома вас не было. Записку оставили.

На столе в моей комнате лежал клочок разграфленного бланка (помнится, предназначенного для сбора собачьего налога), на нем были написаны карандашом следующие строки:

«Господин Войтинский, ради Бога, никому не говорите ничего и не пишите в газеты, что было между нас. Иначе мы все погибли. С совершенным почтением

Лисевич
Сафронов».

Так кончилась попытка объединения чинов петербургской полиции.

Больше я не встречал никого из моих знакомых по Караванной гостинице.

Но в 1906 г. одному моему товарищу из Совета Безработных¹⁾ пришлось идти через город, из одного участка в другой, под конвоем двух околоточных. И один из конвоиров пустился с ним в разговоры:

— Эх, скоро же свобода кончилась, сокрушался он: А как хорошо было в первые-то дни! Даже мы, полиция, и то людьми себя почувствовали... Эх, не поверите вы, господин, собрание у нас было, социалисты из комитета приезжали! Так оно было хорошо на душе, — лучшего дня за всю жизнь я не припомню. И вот, поди-ж ты, все прахом пошло...

* * *

Первая всеобщая забастовка закончилась в Петербурге 21-го октября, в полдень. А 2-го ноября началась уже новая забастовка. Короткий промежуток между обеими датами был необычайно насыщен событиями. Важнейшим из этих событий была неожиданная вспышка борьбы за 8-часовой рабочий день.

В 20-х числах октября целый ряд заводов и фабрик принял решение: работать лишь 8 часов.

Проводилось это решение самым простым способом. Работы начинались установленным на заводе порядком, — по гудку или по звонку. Так же проводился и обеденный перерыв. Но, отработав

¹⁾ Не помню его имени.

Страница дан бу
год 1917 года

8 часов, рабочие складывали инструмент и расходились по домам, не заботясь о том, как будет реагировать на их уход контора.

Таким образом, каждый рабочий день как бы заканчивался забастовкой: завод был открыт, администрация и технический персонал оставались на своих местах, а рабочих не было, машины и станки бездействовали.

В первые дни заводская администрация придерживалась выжидательной тактики: сдельщикам записывали выполненную ими работу, поденщикам отработанные 8 часов отмечались, как $\frac{4}{5}$ полного рабочего дня. Но долго держаться такое положение не могло. С одной стороны, оно неизбежно вело рабочих к борьбе за повышение расценок, с другой стороны, хозяева не могли примириться с водворившейся на заводах «анархией». Таким образом, «захват» 8-часового рабочего дня революционным путем не разрешал проблему, но лишь ставил ее, и при том в весьма невыгодной для рабочих форме.

К предстоящей борьбе петербургский пролетариат не был подготовлен. Рабочие массы в это время переживали высокий моральный подъем, были охвачены — не свободой, как уверяли правые газеты, а сознанием величия своего исторического призвания, сознанием подвига, совершаемого во имя освобождения всего народа. Из их среды выделилась фаланга смелых, беззаветно преданных делу руководителей. Но все это не могло заменить прочную организацию и тот опыт, который приобретает рабочими лишь в школе профессионального движения.

Совет Депутатов был крайне примитивной формой объединения, этот орган, — собственно говоря, объединявший заводские митинги и зачастую готовый сам превратиться в митинг, — мог успешно формулировать желания рабочей массы, но не был в состоянии указать ей пределы достижимого, не был в состоянии сдерживать и направлять ее порыв. Исполнительный Комитет Совета, где главную роль играли партийные деятели-интеллигенты, несколько раз пытался принять на себя эту роль, — но это ему не удавалось: его благоразумные советы заглушались горячими речами депутатов, принесших прямо с фабрик и заводов свой энтузиазм борьбы.

Так произошло и с революционным введением 8-часового рабочего дня.

Эта кампания, закончившаяся разгромом рядов пролетариата, была с самого начала безнадежна. И, казалось бы, опыт западно-европейского рабочего движения давал достаточно указаний, чтобы предвидеть этот исход ее. Но разве опыт Запада не говорил нам, что всеобщая забастовка без длительной подготовки невозможна? разве мы сами не твердили это на десятках митингов? А, вот, всеобщая забастовка пришла, и революционный инстинкт пролетариата оказался вернее нашего предвидения!

Мысль о захватном введении 8-часового рабочего дня была подсказана рабочей массе не социалистическими партиями, не Советом, не заводскими депутатами, а самой психологией всеобщей забастовки.

«Раз мы могли остановить всю жизнь в стране, неужто не в нашей власти закрывать наш завод не в 7, а в 5 ч. вечера?» рассуждали рабочие.

Одержав победу на арене политической борьбы, рабочая масса склонна была преувеличивать свои силы и преуменьшать трудности задач в области экономических отношений.

В течение недели, протекшей после окончания октябрьской забастовки, число фабрик и заводов, установивших у себя 8-часовой рабочий день, непрерывно возрастало.

И когда, 29 октября, вновь собрался Совет Рабочих Депутатов, доклады с мест дали ослепительную картину победоносного шествия пролетариата вперед, к осуществлению его программ-минимум.

Только и слышалось:

— Работаем 8 часов, настроение хорошее.

— Ввели революционным путем 8-часовой день. Наш либерал злится, да ничего сделать не может.

Рядом с этим раздавались голоса о том, что выработка сократилась, что нужно пересмотреть и повысить расценки.

Совет вынес резолюцию:

«Совет Рабочих Депутатов приветствует тех товарищей, которые революционным путем ввели у себя на заводах 8-часовой рабочий день.

«Совет Рабочих Депутатов считает, что повсеместное введение 8-часового рабочего дня требует соответствующего увеличения расценок, дабы заработная плата осталась, по меньшей мере, на прежнем уровне.

«Совет Рабочих Депутатов постановил: всем отставшим заводам и фабрикам с 31 октября примкнуть к борьбе за 8-часовой рабочий день, вводя

его на всех заводах и фабриках революционным путем».

Это постановление было принято общим собранием совершенно неожиданно: вопрос не стоял в порядке дня, не обсуждался предварительно в Исполнительном Комитете, и даже доклада по нему не было представлено. Ответственное решение было вынесено почти мимоходом, по поводу заслушанных сообщений с мест.

Заработная плата должна остаться, по меньшей мере, на прежнем уровне! Значит, естественно добиваться ее повышения. Борьба за сокращение рабочих часов усложнялась, таким образом, борьбою за повышение платы, в эту борьбу вовлекался весь петербургский пролетариат, — и это в то время, когда ни одна из завоеванных им политических позиций не была закреплена, когда победа, одержанная им всего лишь несколько дней тому назад, в любой момент могла оказаться призрачной и смениться поражением!

О, немного требуется ума, чтобы задним числом критиковать это решение и на основании его выносить приговор Совету, который в этот час лишь отразил волю той массы, плотью от плоти которой он был.

Но я хочу отметить, что уже тогда среди рабочих были люди, которые чувствовали, что начинающаяся кампания не приведет к добру. Когда резолюция была принята при шумном энтузиазме собрания, неожиданно раздался из рядов депутатов горестный возглас:

— Что же мы это делаем, товарищи? С самодержавием не покончили, а уже за капитализм принимаемся?

Эту тревогу разделяли почти все интеллигенты, входившие в Совет или стоявшие близко к нему. Но движение шло стихийно, остановить его не было возможности, приходилось думать лишь о том, чтобы внести в него возможно большую плановость и стройность...

Казалось, что принятая Советом резолюция разрешает эту задачу.

* * *

Другим знаменательным событием в последовавшие за октябрьской забастовкою дни было выступление черной сотни.

«Истинно-русские люди» начали свои подвиги значительно раньше: в течение всего 1905 г. погромы в России шли почти непрерывной чередой. Но после 17 октября это движение необычайно усилилось: в течение одной недели было зарегистрировано свыше 100 погромов, с тысячею убитых и зверски замученных, с тремя тысячами тяжело раненых.

Зашевелилась черная сотня и в Петербурге. Оживилась деятельность «Союза Русского Народа» в пригородах. Выплыло «Общество борьбы с революцией и анархией». Появилась еще какая то шайка, называвшая себя «Каморрой Народной Расправы».

Шли слухи о готовящемся поголовном истреблении деятелей революционного движения.

108

Ходили по рукам списки лиц, которые должны быть убиты в первую очередь¹⁾. В различных частях города рабочие и студенты подвергались нападению, — убитых, насколько помню, не было, но были тяжело раненые. Устраивались патристические манифестации — правда, довольно жидкие — с царскими портретами и револьверными выстрелами.

Но все это были лишь первые робкие шаги. Ожидалось более решительное массовое выступление.

В чем должно было выразиться оно?

Шли слухи о готовящемся погроме.

Я говорил уже о том, как 22 октября, из-за опасения погрома, Совет Рабочих Депутатов отменил назначенные на 23-ье число похороны товарищей, убитых в день опубликования манифеста.

Но после этого слухи о предстоящем погроме продолжали ползти по городу. В заводских районах какие то банды по ночам нападали на проходивших в одиночку передовых рабочих, избивали их до потери сознания. На заводах встал вопрос о самообороне, о вооружении.

Огнестрельного оружия у рабочих почти что не было и достать его было неоткуда. Решили обойтись холодным оружием.

Погрома ожидали почему то на воскресенье, 30 октября. И вот, 29-го октября на ряде металлических заводов началась работа: оттачивали железные пики, ковали кинжалы, ножи, готовили

¹⁾ Один из таких списков начинался с членов нашей агитаторской коллегии. Я лично относился очень скептически к подлинности этих списков и теперь думаю, что они были плодом мистификации или же проявлением черносотенного озорства какой-нибудь компании, не собиравшейся приводить в исполнение свои угрозы.

кистени. Одновременно формировались боевые десятки, выбирались начальники дружин, намечались штабные квартиры, устанавливались связи, — шла организационная подготовка самообороны. Особенно энергично шла эта работа в Невском районе. Семяниковцы отправляли пикеты и на сторону, на фабрики Охты и Выборгской стороны. Подготовка велась настолько энергично, что, если бы 30 октября начался где-либо в городе погром, рабочие смогли бы выставить против громил не меньше 10—12 тысяч человек, вооруженных холодным оружием, и несколько сот человек с револьверами и охотничьими ружьями. Но еще важнее было то, что начало погрома явилось бы сигналом к выступлению на улицы всех рабочих столицы¹⁾.

На вечернем заседании 29-го октября Совет Депутатов, как главный штаб противопогромных сил, принимал донесения о принятых в районах мерах.

* * *

¹⁾ Впоследствии в социалистических кругах установилось представление, что в конце октября Совет спас петербургское население от ужасов погрома, который подготовлялся полицией.

Это и верно, и неверно.

Полиция, в лице Трепова, и правительство, в лице Дурново, несомненно, организовывали в Петербурге погромные силы. Но, может быть, не только пикеты и кистени рабочих заставили их отказаться от мысли об «активном выступлении».

В городе, где нет еврейских кварталов, где все переполнено чиновниками, где, целая в «жида», рискуешь угождать в его превосходительство или в иностранного подданного, в таком городе устроить погром не так легко, как в Кишиневе, Гомеле или Кременчуге. И, повидимому, Трепов и Дурново поняли это, — ибо они не пытались устроить

109-
29 X
Засед

Это было одно из самых торжественных, самых праздничных заседаний Совета.

Обширный зал Соляного Городка был уставлен простыми деревянными лавками. На них сидело 280 рабочих депутатов. По бокам и сзади толпились «гости», — среди них сотни товарищей, освобожденных 21-го из тюрем по амнистии. Впереди, на высокой эстраде, за зеленым столом Исполнительный Комитет с Хрустальевым-Носарем во главе.

В начале собрания — бурный, но быстро улаженный инцидент по поводу предложения Кнунианца о «выяснении политической физиономии Совета». Затем, начинаются доклады с мест.

Металлисты подробно, с гордостью рассказывают, как готовили они оружие. Тут же демонстрируют пикеты, кинжалы и кистени, принесенные из районов для образца. Сообщают, сколько где организовано боевых дружин, какие установлены караулы.

Может быть, в этих докладах была немалая доля самообмана и увлечения. Но нельзя было без глубокого сердечного волнения следить за бесхитростными рассказами о том, как вооружаются пиками и ножами тысячи рабочих, готовые с этим слабым оружием двинуться против солдатских шты-

погром в Петербурге и тогда, когда торжество реакции развязало им руки.

Поэтому попытку вооружения петербургских рабочих я склонен оценивать не с точки зрения ее непосредственных результатов, а как проявление того боевого энтузиазма, которым горели в эти дни пролетарские сердца.

Сверчков в своей книге «На заре революции» (стр. 122) приписывает Лопухину заявление, что погром в Петербурге не состоялся и с к л ю ч и т е л ь н о благодаря мерам противодействия, принятым Советом Рабочих Депутатов. Насколько мне известно, такого заявления Лопухин не делал.

заседание 29 октября (7-220)
+ с. Чернов с 248

ков, чтобы не допустить в городе черносотенного погрома.

Доклады были прерваны сообщением председателя, что на собрание прибыли вернувшиеся в Россию из невольной эмиграции основатели русской социал-демократии — Вера Ивановна Засулич и Лев Дейч.

Будто электрический ток пробежал по залу. Все депутаты поднялись со своих мест. Вера Ивановна, повидимому, не ожидала торжественной встречи. Она пришла на собрание послушать речи, посмотреть на Совет, и теперь стояла в дверях, смущенная, сконфуженная, в нерешительности, идти ли дальше.

При громе аплодисментов, ее подхватили под руки, повели, почти понесли к эстраде, усадили рядом с председателем. Депутаты опустили на свои места, потом поднялись вновь, продолжая восторженно аплодировать. Лица у всех умиленные, у многих слезы на глазах.

Двое товарищей из Исполнительного Комитета подошли к Вере Ивановне и наклонились к ней. Старушка отрицательно качала головой, прижимая руки к груди.

Сразу догадались, что Исполнительный Комитет предлагает Вере Ивановне взять слово. Послышались крики:

— Просим! Просим!

Засулич выступила вперед, сказала несколько слов трогательно-простых, почти несвязных.

— Милые! обратилась она к рабочим.

И это слово, употребленное вместо привычного обращения «товарищи», вызвало такую бурю во-

сторга, что мало кто мог расслышать, что еще хотела сказать Вера Ивановна.

Затем от имени исполнительного Комитета говорил Троцкий. От лица рабочих приветствовал дорогих гостей Петр (с Франко-Русского завода). Взял слово Дейч, — но его не было слышно за шумом всеобщего ликования...

Наверное, мало кто из присутствовавших рабочих знал, кто такие Вера Засулич и Лев Дейч. Но для всех вернувшиеся из долголетнего изгнания старые борцы были бесконечно дорогим символом, — символом одержанной пролетариатом победы, символом совершенного подвига.

Долго не утихал в зале шум радостного возбуждения. Наконец, председатель предложил собранию вернуться к порядку дня:

— Борьба еще не кончена, напомнил он депутатам: У нас еще много работы.

Заседание возобновилось. На председательском месте тесной группой сидели: Хрусталева, Вера Засулич и Троцкий.

Опять потянулись доклады из районов. Теперь вопрос шел о заводах, установивших революционным путем 8-часовой рабочий день.

Могли ли сомневаться депутаты, что это — такой же показатель силы рабочего класса, как освобожденные из тюрем политические заключенные, как вернувшиеся на родину эмигранты? Могли ли они предвидеть ожидавшие их в столь близком будущем разочарования и поражения?

В этой обстановке и была принята приведенная выше резолюция о присоединении всего петербург-

Утром, около 8 часов?
ского пролетариата к кампании за 8-часовой рабочий день.

* * *

После заседания Совета ко мне подошел один из депутатов Семяниковского завода:

— Товарищ Петров, завтра с утра у нас большой митинг. Просим вас участвовать.

— Хорошо.

— Так идемте вместе на завод. Оно будет и удобнее, и безопаснее, — у нас за заставой хулиганы пошаливают: если один поедете, могут обидеть.

Вышли из Соляного Городка кучкой, человек 15—20, все депутаты Невского района. Решили до Знаменской площади идти пешком, а там взять паровичок, по Шлиссельбургскому шоссе.

Шли дружно, весело болтая. Впереди шагал Николай Клемницкий, огромный, плечистый, с каким то длинным пакетом, похожим на зонтик, в руках. Подле него, едва поспевая за ним, двигалась крошечная женская фигура, вся в черном.

— Кто это? спросил я депутатов.

— Это Вера Ивановна, с гордостью ответил мне семяниковец: к нам на митинг!

У меня было чувство большого уважения и нежности к Вере Засулич. Явилось желание подойти к ней, сказать ей несколько слов. Но законфузился и удержался от первого движения.

У Знаменья паровичка не оказалось, — мы пришли слишком поздно.

Клемницкий предложил:

— Идем пешком. Не отставай, товарищи!

111
Он сдернул газету со своего пакета, — там оказался не зонтик, а небольшой карабин, — и мы пошли дальше по безлюдной, безмолвной улице. Шли не по тротуару, а посреди мостовой, опасаясь нечаянного нападения из подворотни.

За Александро-Невской Лаврой углубились в полную темноту. Тут дорога шла мимо пустырей и каких то амбаров.

— Самое плохое место! сказал один из рабочих, доставая револьвер из кармана.

Вдруг раздался окрик:

— Стой! Кто идет?

— Свои! отвечал Клемницкий.

Из прохода между двумя амбарами выступила на шоссе группа вооруженных пиками рабочих. Один из депутатов, социалист-революционер Берг, избранный накануне начальником рабочих дружин Невского района, подошел к ним:

— Ну, что у вас тут?

— Пока тихо.

— Все на местах?

— Все. А у вас как там, в Совете?

— Хорошо все. Долго рассказывать. Завтра на митинге доложим.

Мы пошли дальше. Вера Ивановна еле двигалась от усталости, но не жаловалась и старалась не отставать. Клемницкий предложил ей:

— Дозвольте, товарищ, я понесу вас.

Засулич отказывалась.

— Ей-Богу, не тяжело мне будет, настаивал Клемницкий: и не далеко осталось. Дозвольте только...

15 Войтинский.

112

раб. р-н

Но Вера Ивановна не сдавалась. На счастье, попался навстречу извозчик, — что в этих местах, и в ночную пору, большая редкость. Остановили его.

— К Семяниковскому заводу!

— Да я домой ворочаюсь. Лошадь не кормлена.

— Чего там, домой поспеешь. Поворачивай!

«Ванька», немного перетрусив, поворотил лошадь. Посадили в пролетку Засулич, с ней сел рабочий, предложивший ей свою квартиру для ночевки. А мы продолжали путь пешком.

Спать меня отвели к какому то технику или конторщику. Утром я немного задержался у него с чаепитием, и когда пришел на завод, рабочие уже были в сборе.

Огромная мастерская-верфь над Невой. Масса света льется сквозь стеклянные боковые стены. Посредине высокий помост, обитый кумачем. Над помостом два знамени: старое, общезаводское и новое, боевой дружины завода. Подле второго знамени два парня: у одного на плече блестящая, новенькая стальная секира, у другого — столь же блестящий меч, — такой большой и тяжелый, что он был бы по руке лишь какому-нибудь сказочному великану. Эмблемы заводской дружины, выкованные накануне на страх врагам! Над толпой там и сям красные флаги с лозунгами.

Впрочем, я уже описывал заводские митинги этого периода... Данный митинг отличался лишь большей торжественностью и тем, что на нем не было обычной партийной полемики.

Был заслушан отчет депутатов о последние за-

седании Совета. Берг сделал доклад об организации дружин¹⁾.

Я стоял в толпе, у трибуны, когда протискалась к помосту группа товарищей, окружавшая Веру Засулич.

— Подымитесь на трибуну, товарищ! уговаривали Веру Ивановну: Оттуда лучше видно.

Засулич нерешительно ступила на первую ступеньку лестницы, ее подхватили под руки и почти насильно подняли на помост.

Появление на ораторской трибуне седенькой старушки было сразу замечено толпой. Заметили, с каким почтением наклонился к ней Клемницкий, как теснились к ней партийные товарищи.

— Кто это? спрашивали рабочие.

Один из меньшевиков дернул за рукав председателя:

— Николай! Представь Веру Ивановну собранию.

— Товарищи! крикнул Клемницкий своим могучим голосом: Вот стоит перед вами Вера Ивановна Засулич! Да!

По лицу и по голосу председателя все поняли сразу, что присутствие здесь, среди них, этой старой женщины с черной сумочкой в руках, — большой праздник, большая честь для завода.

— Ура! прокатилось над толпой.

Загремели аплодисменты.

И чей то голос спросил с любопытством:

— А кто она?

¹⁾ Этот Берг — один из осужденных по московскому процессу социалистов-революционеров в 1922 г.

— Расскажи, что сделала Вера Засулич! подсказывал меньшевик Клемницкому.

— Товарищи! снова провозгласил председатель: Вот перед вами Вера Ивановна Засулич, которая... которая...

И остановился в смущении, не зная, что сказать: он и сам не знал, что сделала Вера Засулич, и почему дорога она пролетариату, и за что нужно любить ее.

Меньшевик поспешил на выручку, объяснил Николаю, что нужно сказать. Наклонившись к нему, Клемницкий слушал, качая головой, широко, ласково улыбаясь и товарищам, и утиравшей слезы умиления старушке. Затем, шагнув вперед, протянув руку над толпою, он начал:

— Товарищи, вот это и есть среди нас, Вера Ивановна Засулич, которая в молодости...

Но то, что говорил ему товарищ-меньшевик, уже вылетело из головы Николая. Он еще раз взглянул в лицо Веры Ивановны и закончил:

— ...которая в молодости была очень красивая.

Снова гремели аплодисменты, снова неслось возторженное «ура». Толпа сердцем угадывала то, чего не смог объяснить словами ее председатель...

* * *

В то время, как в рабочих кварталах Петербурга шла подготовка дружин самообороны и загоралась борьба за 8-часовой рабочий день, в нескольких верстах от столицы, в Кронштадте, происходили события, которым суждено было сыграть

роковую роль в дальнейшем течении российской революции. Я говорю о матросском бунте.

Трудно восстановить отчетливую картину этого бунта.

По рассказам кронштадтцев, выступавших в Совете Рабочих Депутатов, дело рисуется в таком виде.

Брожение среди матросов началось давно. Причины его были обычные: тяжелое положение нижних чинов, бездушная, жестокая дисциплина, проникавшие извне отголоски революционной борьбы народа за свободу и за лучшие условия жизни, — и, разумеется, гибель Балтийской эскадры под Цусимой.

Но партийная пропаганда, если и велась в Кронштадте, то крайне слабо, — массы она, во всяком случае, не коснулась и заметного влияния на ход событий не оказала.

23 октября собрался на Якорной площади митинг матросов. Решено было обратиться к царю с петицией. Тут же выработали текст петиции, — записывали то, чего требовали из толпы отдельные голоса:

Вот текст этой петиции, как передавала ее большевистская «Новая Жизнь»:

«1. Согласно дарованному манифесту, матросы являются российскими гражданами; как таковые, они имеют право собираться и обсуждать свои дела. Если военным неудобно собираться на площадях, пусть им отведут манеж.

«2. Сократить срок службы.

«3. Жалованье не менее 6 рублей в месяц.

119
- р. 32
- н. 32 4-й раз-не
«4. Выдавать хорошую обмундировку и хорошую пищу, а то приходится чуть ли не круглый год одеваться на свои деньги.

«5. Матросы должны по своему усмотрению располагать свободным временем. Теперь же, как крепостные, — обо всем просить разрешения приходится.

«6. Беспрепятственная доставка вина, так как матросы — не дети, опекаемые родителями.

«7. Военные должны иметь доступ на все частные собрания. Теперь же они в этом стеснены. Например, в одном сквере есть надпись: «вход с собаками запрещен». И тут же внизу: «матросам и солдатам вход воспрещен». А между тем, они — «защитники отечества», исполняют трудную службу и в тоже время наравне с собаками поставлены».

Одновременно с петицией, была выработана еще своего рода матросская программа:

«1. Уничтожение сословий, чтобы все были равны;

«2. Свобода религии;

«3. Неприкосновенность личности, а то придут, схватят матроса и без защиты посадят;

«4. Образование на родном языке;

«5. Свобода слова. Ведь военные низшие чины только и могут говорить: «точно так», «никак нет» и «есть». Они должны иметь право и с начальством, и везде говорить открыто и что хотят».

Здесь же на митинге было принято решение «бороться вместе с народом за полное народо-властие и за свободу».

26 октября в одном из крепостных батальонов вспыхнули беспорядки — точ в точ как на «По-

темкине Таврическом», — из за червей в солонине. К вечеру «зачинщики», в числе около 100 ч., были арестованы и отправлены в форт, превращенный в военную тюрьму. По дороге вагон был задержан группой солдат и матросов, и арестованные были освобождены. Это послужило сигналом к общему восстанию флотских экипажей и артиллеристов.

В руках восставших оказался весь город. Офицеры и начальствующие лица были арестованы.

Но никакого плана у восставших не было. Они не подумали ни о том, чтобы закрепить свою неожиданную легкую победу, ни о том, чтобы связаться с частями петербургского гарнизона, ни о том, чтобы организовать оборону острова на случай наступления правительственных войск из Петербурга.

27 октября, при участии полиции и местных хулиганов, начался в Кронштадте разгром винных лавок и погребов. Темная матросская толпа присоединилась к громилам. Вспыхнул пьяный разгул и погром. А 28-го в город вступили пехотные части из Петербурга. Матросы были почти без сопротивления обезоружены, в городе был восстановлен порядок.

Правительство решило беспощадной расправой над кронштадтцами дать устрашающий пример охваченной брожением солдатской массе. 29-го виновные в беспорядках были преданы военному суду.

В Петербурге разнесся слух, что всем им — их было несколько сот человек — грозит смертная казнь.

На интеллигентные круги общества кронштадтские события произвели удручающее впечатление. Революционное выступление сливалось здесь с пья-

115

ным погромом, который, при иных обстоятельствах, мог бы принять чисто черносотенные формы. Ужас и брезгливое отвращение — вот чувства, которые вызывались картинами этого темного бунта. И передававшиеся из уст в уста подробности лишь усиливали это впечатление.

Но с другой стороны взглянула на эти события рабочая масса. Рабочий легче, чем интеллигент, мог понять темного матроса.

Петицию к царю составили... А давно ли мы сами к Зимнему Дворцу ходили?

О водке царя просят... Дураки, конечно! Ну, а мы то давно ли умными стали?

Перепились... Плохо оно, слов нет. Да, может, они это с радости, по случаю революции?

Громить пошли... Это совсем последнее дело. А с чего? С темноты. Так кто виноват, что сознательности у них не было? Кто в темноте их держал?

Так, или приблизительно так, работала мысль в заводских районах. Симпатии рабочих были безоговорочно на стороне кронштадтских матросов: в повстанцах рабочие видели своих братьев, неудачу кронштадтского движения ощущали, как свое поражение. И к их думам о кронштадтских событиях примешивалось скорбное недоумение:

— Как это, под боком у нас, товарищи-матросы боролись и гибли за свободу, а мы палец о палец не ударили, чтобы помочь им?

Известие о грозящей матросам смертной казни упало, таким образом, на подготовленную почву. Рабочая масса заволновалась. На заводах и фабриках пошли толки о том, что нельзя так, сложа руки,

дожидаться расправы над матросами, что нужно заступиться за товарищей. К этому присоединилась еще одна мысль, которая в короткое время с неудержимой силой овладела сознанием всей рабочей массы Петербурга:

Нужно заступиться за кронштадтских матросов, чтобы солдаты поняли, наконец, что рабочие их друзья и братья.

Вопрос о Кронштадте слился, таким образом, с общим вопросом об армии.

Тем, кто в эти дни не жил одной жизнью с рабочей толпой, может показаться невероятным, чтобы масса, еще недавно шедшая за Гапоном, была способна так отчетливо видеть за частным вопросом общую проблему. Но в этом нет чуда.

При каждом своем выступлении рабочие натакивались на строй птыков. Из их памяти не изгладилась картина 9-го января. Еще совсем недавно, в октябрьские дни они снова видели перед собою стену серых шинелей. Они чувствовали, что все теснее сжимается вокруг них железное кольцо, что спасение их в том, чтобы прорвать это кольцо, в том, чтобы привлечь армию на свою сторону.

И вот, уже с 30 октября начались в рабочих районах разговоры о том, что необходимо объявить забастовку в защиту кронштадтских товарищей.

Быстрее всего оформилось это настроение на заводах Невского района, — тех заводах, которые выступали первыми и в октябрьскую забастовку, и в борьбе за 8-часовой рабочий день.

Рабочие митинги, один за другим, выносят резолюции протеста, заканчивающиеся угрозой: «если кронштадтские матросы не будут освобождены, — обя-

вим политическую забастовку». Районы требуют экстренного собрания Совета Рабочих Депутатов, которое выработало бы наиболее действительные меры борьбы.

Но еще до собрания Совета, заранее было ясно, каково будет его решение: ибо заводские митинги 30 и 31-го октября представляли собою своего рода референдум петербургского пролетариата, настроение рабочих масс вывилось на них с полной отчетливостью, — Совету Рабочих Депутатов оставалось дать ему политическое выражение.

* * *

Совет Рабочих Депутатов собрался 1-го ноября. Это было его 10-ое заседание, — считая с первого совещания депутатов Невского района в Технологическом Институте.

Заседание происходило в обширном, спартански простом зале Соляного городка. Зал был переполнен. Настроение депутатов было сдержанное и вместе с тем боевое.

В порядке дня стоял один единственный вопрос — кронштадтские события. Но в самом начале заседания слово было предоставлено прибывшим из Царства Польского делегатам. Они говорили о военном положении, введенном с 29 октября в Польше, и призывали петербургский пролетариат протестовать против насилий царизма над польскими рабочими.

Затем начались сообщения очевидцев о кронштадтских событиях.

116

Мне запомнилась речь матроса, — молодого парня, невысокого роста, невзрачного с виду. С потрясающей простотой и искренностью рассказывал он, как все произошло. Когда пришлось говорить о том, как в водке и грязи потонуло движение, начавшееся насильственным освобождением арестованных товарищей, голос его упал почти до шопота, — казалось, перед рабочим Советом он чувствовал себя, как перед судилищем. Но ни единым словом не пытался он прикрыть обидную, тяжелую правду.

— Пошли хулиганы погребу разбивать, а матросы за ними. Тоже и солдаты. Другие удерживали, отговаривали, да напрасно... Потом бочки на площадь, на улицы выкатили, — пей, кто хочет... Опять многие матросы пошли... Тут все вместе были, перепились окончательно... Начали дома громить... Все громили... Матросы, солдаты, хулиганы, — все сообща.

И кончил мольбою:

— Теперь, говорят, расстреливать нас будут. Выручайте, товарищи!

Открылись прения: как помочь кронштадтским товарищам? Речи были короткие, 2—3 минуты, а то и меньше. Ни лирических излияний, ни агитационных призывов. Депутаты сжато, деловито общаются, как смотрят их заводы на положение. Почти все требуют немедленного объявления забастовки. Лишь путиловцы сдержанно заявили:

— Если все будут бастовать, присоединится и наш завод.

Сделали перерыв. Исполнительный Комитет удалился на совещание, и после возобнов-

(о закл. 1 ноября)

это забастовка!

вления заседания председатель предложил резолюцию, призывавшую революционный пролетариат Петербурга, посредством общей политической забастовки, уже доказавшей свою грозную силу, и посредством общих митингов протеста проявить свою братскую солидарность с революционными солдатами Кронштадта и революционным пролетариатом Польши.

Резолюция заканчивалась словами:

«Завтра, 2-го ноября, в 12 часов дня, рабочие Петербурга прекращают работы с лозунгами:

- «1. Долой полевые суды!
- «2. Долой смертную казнь!
- «3. Долой военное положение в Польше и во всей России!»

Эта резолюция была без всяких изменений принята Советом¹⁾.

Так была объявлена вторая политическая забастовка, через 10 дней после первой.

Представитель социалистов - революционеров предложил включить в число лозунгов забастовки также протест против решения правительства отпустить трех генерал-адъютантов с воинскими командами и пулеметами в охваченные аграрными волнениями губернии (Саратовскую, Симбирскую и Тамбовскую). Представитель эсдаков возражал против этого предложения, и оно было отклонено собранием.

¹⁾ Здесь произошел упомянутый мною выше конфликт большевистского Петербургского Комитета с Советом по вопросу о том, может ли выходить во время забастовки «Новая Жизнь». В результате конфликта часть большевиков воздержалась при голосовании резолюции.

Мотивы выступления эсэров в данном случае ясны — они стремились связать предстоящую забастовку с крестьянским движением. Труднее понять, почему эсдаки были против включения в резолюцию упоминания о пулеметных генералах. Считали ли они этот вопрос незначительным, не заслуживающим внимания? Или боялись растворения рабочего движения в крестьянской стихии?

Я думаю, что психологически дело обяснялось иначе.

Предстоящая стачка, по своей первоначальной идее, должна была быть стачкой петербургских рабочих в защиту кронштадтских матросов. Как таковая, она имела определенный политический смысл. И именно в таком виде был поставлен вопрос о ней в рабочих районах.

Всякий новый лозунг, усложняя идею стачки, ослаблял ее эффект. С этой точки зрения, ошибкой было уже присоединение к волновавшему рабочих вопросу о Кронштадте нового вопроса о Польше, — вопроса, о котором до заседания Совета большая часть рабочих ничего не слыхала.

Но сделав эту первую ошибку, авторы резолюции решили остановиться и не идти по этому пути дальше, как требовали того эсэры²⁾.

Платформа забастовки получилась несколько уродливая, случайная, — чего не было бы, если бы выступление было связано исключительно с мест-

²⁾ Отмечу, что эсэры, не обескураженные провалом их предложения в Совете, перенесли вопрос на заводские митинги и там добились успеха: рабочие охотно принимали советскую резолюцию с эсэровским дополнением о генералах.

сравн. с. 187

22 Q 2005

- "Uyb", "Zugl"
- g. m. m.

১৮

* * *

11

118

1 na
2 ge

стов. Со всех сторон были устремлены на меня косые, угрюмые взгляды. Но никто не сказал ни слова, никто не ответил на мое приветствие.

Следили за каждым моим движением, но делали вид, будто не замечают моего присутствия. Стараясь держаться возможно уверенно, я прошел вглубь мастерской. Высматривал «позицию», — место, с которого можно было бы начать речь.

У задней стены, подле высоких штабелей железа, лежал на земле большой котел с плоской крышкой, — трибуна хоть куда. Вагроздившись на котел, я имел всех рабочих перед собою и был обеспечен от неожиданного нападения сзади; вместе с тем дружинники, стоявшие за дверью, могли видеть меня.

— Товарищи! крикнул я.

Стук молотов усилился. Несколько человек подошли ко мне, хмурые, злые, и один из них спросил:

— Чего тебе надо? Кто тебя прислал?

— Прислан я Советом Рабочих Депутатов. А что мне надо, я сейчас объясню...

— Уходи лучше по добру, по здорову!

— Сперва объясню, что мне надо, потом уйду.

Кучка перед котлом росла. Попрежнему стучали молотки, но это было уже не шум работы, а обструкция.

— Тише там! крикнул я в сторону беспокойных молотов: Потом наступите... Тут люди спрашивают, а вы им слушать не даете.

Постепенно шум стих. Собрались все, но многие с инструментом в руках, готовые возобновить работу — или обструкцию.

Один рабочий сказал мне:

— Говори — не говори, а только бастовать мы не согласны. Довольно через вашего брата наголодались, — будет!

— Ваше дело, отвечал я: захотите — забастуете, а нет — так нет. Никто вас не неволит.

— Никто не неволит? А что утром говорили? Всем заводом придти грозились! Гайками выгнать сулили... Да пусть сунутся, у нас тоже гайки найдутся.

Толпа волновалась, шумела. Угрожающе подымались вверх молотки.

— Товарищи! крикнул я: Об этих угрозах и мне говорили, но я сказал, что никто не может приневоливать другого к забастовке. Поэтому я пришел к вам один, хотя... ведь и с вашей стороны были угрозы. Что у вас про печь говорили?

— Мало ли что говорят меж собою...

— Ну, я про печь поминать не стану, а вы про гайки забудьте! Расскажу я вам, зачем объявлена забастовка, а там вы решите, бастовать или нет.

— Ну, говори, — только бастовать мы не согласны. Послушать можно, — а от забастовок брюхо у нас подвело.

Когда я кончил свою речь, какой то рабочий взволнованно обратился к толпе:

— А с чего у нас прошлый раз несогласие вышло? Когда человек рассказал, мы понять можем. А у них нет того, чтобы толком объяснить. Чуть что — ты хулиган, ты черная сотня, — и за гайки!

— Если-б мы знали, мы бы и в тот раз от других не отстали-б, поддержали из толпы.

Но вперед выдвинулся молодой человек в круглой барашковой шапочке и в черной куртке, расшитой шнурами. Он вызывающе обратился ко мне:

— Вы тут обо всем говорили, а одного не сказали: много ль вам платят за то, чтоб вы ходили, народ мutilи?

— Кто платит? удивился я: Совет Рабочих Депутатов?

— Совет-ли, японцы - ли, жидаы - ли... А сколько вы в день получаете?

Вместо ответа, я рассказал, какая награда ждет революционеров. Рабочие, казалось, были тронуты. Но молодой человек в барашковой шапочке насмешливо переспросил:

— Значит, для собственного удовольствия едите, рабочих сбиваете?

Стоявший по близости пожилой рабочий перебил его:

— Тебе то что, когда ты не рабочий, а певчий?

— Врешь, не певчий, а чертежник! огрызнулся молодой человек.

— Ан, певчий! В шереметьевском хоре поешь!

Поднялся шум. Оказалось, что певчего знали и другие.

— Товарищи, сказал я, спросите-ка этого молодца, кто его подослал сюда... Я, вот, от Совета Рабочих Депутатов приехал. А он от кого?

Рабочих будто осенило.

— Верно, Шереметьев его подослал!

— То-то он здесь увивается.

— И в прошлый раз здесь торчал!

— Без него и тогда не было бы ничего.

И покрывая гул голосов, кто-то крикнул:

— А ну-ка, братцы, в печь его!

— В печь! В печь!

Дюжие руки вцепились в шереметьевского певчего, и мне стоило не мало усилий спасти его от расправы.

Затем, приняв единогласно резолюцию о том, что котельная мастерская присоединяется к решению завода и готова до конца бороться под руководством Совета Рабочих Депутатов. И, побросав молотки, двинулись гурьбою во двор, где у ворот мастерской стояла уже порядочная толпа, встретившая котельщиков криками «ура».

* * *

Вторая забастовка шла в заводских районах еще дружнее, стройнее, чем первая. Это было отмечено всеми на заседании Совета 2-го ноября.

На этом заседании было вновь решено развить шире агитацию среди военных.

На следующий день Совет заседал в Вольно-Экономическом Обществе, в роскошном раззолоченном зале, которому суждено было вплоть до 3-го декабря оставаться местом собраний представителей петербургского пролетариата. Это было торжественное и очень многолюдное собрание, — присутствовало 417 депутатов, не считая гостей и представителей социалистических партий.

Доклады с мест дышали бодростью и странным образом противоречили сообщениям буржуазной печати о ходе забастовки: газеты твердили, что за-

бастовка не удалась, а рабочие считали ее удавшейся блестяще и были полны веры в победу.

Нотку веселья внес в заседание инцидент с телеграфным обращением гр. Витте к «братцам-рабочим».

Витте, с таким высокомерием рассуждавший впоследствии о Совете Рабочих Депутатов и, вообще, о революции 1905 года, играл в эти дни довольно жалкую роль: он один принимал в серьез свои слова, свои обещания, свои планы и свой государственный гений, тогда как, в действительности, события катились через его голову, никакого влияния на них он не оказывал, и самое имя его превратилось в символ пустой болтовни.

Но, быть может, самой смешной слабостью Витте была его уверенность в том, что рабочие должны относиться к нему с особым доверием и любовью. Эта уверенность подсказала председателю правительства попытку ласковым словом образумить рабочих и потушить забастовку.

3-го ноября он разослал по всем фабрикам и заводам знаменитую телеграмму: «Братцы-рабочие! Станьте на работу, бросьте смуту, пожалейте ваших жен и детей. Не слушайте дурных советов. Государь приказал нам обратить особенное внимание на рабочий вопрос. Для этого Его Императорское Величество образовал Министерство Торговли и Промышленности, которое должно установить справедливые отношения между рабочими и предпринимателями. Дайте время, все возможное будет для вас сделано. Послушайте совета человека, к вам расположенного и желающего вам добра».

Когда Совет обсуждал эту телеграмму, впечатление, произведенное ею на широкие массы рабочих,

было уже известно. Резюмировалось это впечатление словами:

— За дураков нас считает!

На одном заводе, почему то не забастовавшем накануне, телеграмма Витте была прочитана на митинге, после чего рабочие единогласно и без прений решили ответить премьеру телеграммой:

«Прочитали и забастовали».

Совет Рабочих Депутатов, со своей стороны, на телеграмму Витте ответил обращением к рабочим, которое начиналось словами:

«Совет Рабочих Депутатов, выслушав телеграмму графа Витте к братцам-рабочим, выражает, прежде всего, крайнее изумление по поводу бесцеремонности царского временщика, позволяющего себе называть петербургских рабочих «братцами». Пролетарии ни в каком родстве с гр. Витте не состоят...»¹⁾

На следующий день, 4-го ноября, на всех заводских митингах читался этот ответ. Рабочие были в восторге. На несколько часов полемика Совета с председателем правительства отодвинула на задний план все другие вопросы. Забыты были все испытания нужды и голода, все трудности и опасности, вырисовывавшиеся перед рабочим движением.

* * *

На заводских митингах 4-го ноября речи звучали бодростью. В рабочей тепле царило шумное радостное возбуждение.

А между тем, уже в этот день, по неопровержимым объективным признакам, можно было определить, что выступление не удалось. Грозным симп-

¹⁾ Автором этого обращения был Троцкий.

томом было, прежде всего, то, что забастовка не нашла отклика в провинции: Петербург бастовал один.

Зависело это от многих причин: ближайший повод забастовки (кронштадтское восстание) был местный, а не общероссийский; рабочие массы еще не успели оправиться после первой, октябрьской, забастовки; многие города были терроризированы недавними выступлениями черной сотни; наконец, ноябрьская забастовка с самого начала была окружена атмосферой несочувствия со стороны непролетарских элементов, и буржуазные газеты всей России широким фронтом выступили против нее, замалчивая ее успехи, извращая ее смысл, сея в стране недоверие к новому выступлению пролетариата.

Бастовал только Петербург — и то не весь. Союз Союзов 2-го ноября вынес резолюцию, признававшую «желательным присоединение всех союзов к забастовке, об'явленной Советом Рабочих Депутатов», и предлагавшую «всем бюро всех союзов немедленно созвать союзы для решения вопроса о присоединении их к забастовке». Но это были пустые слова: союзы не были созваны, ни один из них к забастовке не присоединился, а в среде, примыкавшей к Союзу Союзов, чувствовалось определенно враждебное отношение к действиям Совета Рабочих Депутатов.

Итак, выступление петербургских рабочих оставалось местным и изолированным. Это не могло не ослабить впечатления, которое оно производило на солдатскую массу. Солдаты смотрели на забастовку безучастно и хмуро. Они не верили

бескорыстию заступничества рабочих за кронштадтских матросов, им казалось, что за настойчивыми призывами, обращенными к ним, кроется какой то подвох.

Были, конечно, и исключения: в отдельных кучках солдат воззвания Совета будили сочувственный отклик. Отдельные солдаты обращались в эти дни к рабочим и уверяли их в своем твердом решении не стрелять в народ. Но это были и исключения на фоне безразличия и недоверия.

А с того момента, как выяснилось, что забастовка не вызывает энтузиазма в солдатских массах, она перестала пугать и правительство.

Исполнительный Комитет Совета правильно учел положение. Уже 4-го ноября он внес в общее собрание Совета предложение прекратить забастовку. Депутаты, принесшие с собою из районов бодрое настроение борьбы и глубокую уверенность, что все идет как нельзя лучше, были поражены. Посыпались возражения, ссылки на твердую решимость рабочих довести до конца начатое дело.

Напрасно представители Исполнительного Комитета доказывали необходимость беречь силы для предстоящей решительной схватки с царизмом. Депутаты стояли на своем:

— С таким решением мы не можем вернуться на заводы!

И предложение Комитета было отклонено подавляющим большинством голосов.

А между тем, хозяева собрались с силами и перешли в наступление. 5-го — это была суббота — на целом ряде заводов и фабрик появились объявления о поголовном расчете, а в дру-

123

гих предприятиях — подкрепленные угрозой такого расчёта приглашения немедленно возобновить работы.

В вечернем заседании Совета уже не было того подъёма, того оживления, как накануне. Мрачные лица, короткие, обрывистые речи. Будто у каждого на плечах многопудовая тяжесть.

Без конца тянулись доклады с мест. Было обрисовано положение на 147 заводах:

На 92 предприятиях настроение рабочих твердое, готовы бастовать неопределенное время, до постановления Совета;

На 14 предприятиях настроение настолько пониженное, что продолжение забастовки на них невозможно;

На 25 предприятиях рабочие намерены в понедельник, 7-го ноября, приступить к работам;

На 3 предприятиях все рабочие поголовно расчитаны;

На 10 — грозят расчётом;

На 3 — работы уже возобновились¹⁾.

Общая картина получалась неблагоприятная.

К тому же появилось правительственное сообщение о том, что кронштадтские матросы предаются не военно-полевому, а военно-окружному суду, что никому из них не грозит смертная казнь, и что судить их будут лишь за буйство в пьяном виде.

При желании, это сообщение можно было истолковать, как частичный успех. Во всяком же случае, оно чувствительным образом затрудняло дальнейшее ведение забастовки.

¹⁾ Цифры см. в „Истории Совета Рабочих Депутатов г. С. Петербурга“, изд. 1906 г., стр. 121.

Отвергнутое накануне предложение Исполнительного Комитета на этот раз было принято почти единогласно.

Со стесненным сердцем голосовали депутаты за прекращение забастовки: все сознавали, что принимаемое Советом решение знаменует новое поражение пролетариата. Но, как 22-го октября (при отказе от демонстративных похорон), резолюции была придана внешняя форма победной реляции: «... Рабочие Петербурга сочли своим долгом дать новый урок царскому правительству и напомнить ему, что революционный пролетариат существует, бодрствует и готов отвечать ударом на удар.

«Стачка-протест... продолжается в настоящий момент с таким единодушием, которое превосходит даже январскую и октябрьскую забастовку. Этот новый революционный удар, нанесенный царскому правительству, не только показал удивительную энергию, неутомимость, сплоченность и дисциплину пролетариата, но и привлек к рабочим симпатии лучшей части армии...»

Далее, заявив о прекращении стачечной манифестации в понедельник, 7-го ноября, в 12 ч. дня, Совет призывал сознательных рабочих «удесятерить революционную работу в рядах армии и немедленно приступить к боевой организации рабочих масс, планомерно подготавливая, таким образом, последнюю всероссийскую схватку с кровавой монархией, доживающей свои последние дни».

Оставшееся до понедельника время посвятили митингам. Тон речей был победоносный, — как тон резолюции совета. Но в рабочей толпе замеча-

лось тяжелое раздумье, — рабочие массы понимали, что забастовка закончилась их поражением, и что это поражение — лишь начало тяжких испытаний¹⁾.

Что то надломилось в душах рабочих, увяла под холодным дыханием надвигающейся реакции их наивная вера в себя, в свои силы.

В это время произошел чувствительный сдвиг и в настроениях других общественных классов. Я говорил уже о том, как недружелюбно отнеслись непролетарские (либеральные) общественные круги к ноябрьской забастовке. Это обстоятельство заслуживает пристального внимания.

Прежде всего, нужно отметить, что широкие круги общества просто не поняли этой забастовки. Тот вопрос, который был в ней основным и главным, — попытка путем заступничества за матросов связать солдатскую массу с рабочим движением — упорно и умышленно замалчивался буржуазной печатью: газеты не писали о нем, так как боялись, открывая солдатам глаза на цели рабочих, сыграть невольно на руку революции. В оценке основного лозунга забастовки либералы сходились с правыми: они считали преступной попытку революционеров втянуть армию в политическую борьбу. Будто до ноября 1905 г. армия стояла в стороне от политики! Будто не солдаты расстре-

¹⁾ В цитированной книге Сверчкова (см. стр. 129) исход ноябрьской забастовки изображается, как победа пролетариата. Автор утверждает, что Совет Рабочих Депутатов постановил прекратить эту забастовку «в связи с достигнутым успехом», то есть, с заявлением правительства о предании кронштадтских матросов обыкновенному военно-окружному суду. Это оптимистическое освещение событий противоречит исторической правде.

ливали рабочих 9-го января! Будто не солдатскими штыками держался Трепов!

Катехизис либерализма, требующий, чтоб армия оставалась вне политики, легко мирится с употреблением солдатских штыков против народа. Но Боже упаси пытаться вырвать из рук правительства оружие темной солдатчины! Боже упаси пытаться пробудить в солдате человеческую душу!

Когда рабочий подставлял непокрытую грудь солдатскому штыку, общественное мнение было на его стороне.

Когда тот же рабочий, все так же идя вперед и чувствуя стальное острие у самого сердца, крикнул солдату: — Брат! Не убивай! Один общий враг у нас с тобою! — «общественное мнение» восстало против него за вовлечение армии в водоворот политической борьбы.

В этом разгадка непопулярности ноябрьской забастовки и странного извращения самой идеи ее в умеренных общественных кругах.

От ноябрьской забастовки отвернулись, потому что она ставила в наиболее острой форме решающий вопрос революции, вопрос об армии. Но открыто ее критиковали чаще всего, как неудачную форму протеста против введения военного положения в Польше.

Свое отрицательное отношение к этому выступлению петербургских рабочих либеральная печать резюмировала в формуле:

— Нельзя бастовать по частному поводу.

А так как память у людей коротка, и в ноябре общество уже забыло о том, что было в октябре, то

125

новое выступление рабочих посрамлялось путем сравнения его с первой забастовкой:

— Тогда забастовка была объявлена во имя общенациональных требований, и потому все были на стороне забастовщиков. Теперь — повод забастовки частный, а общество не может сочувствовать тому, чтобы по частному поводу пу- скалось в ход столь острое оружие, как всеобщая стачка.

Какое извращение исторической перспективы!

Октябрьская забастовка началась по совершенно частному, ничтожному поводу, — по поводу проникших неведомо откуда на Московско-Казан- скую железную дорогу ложных слухов о разгоне заседавшего в Петербурге железнодорожного (пен- сионного) съезда. Никаких общенациональных тре- бований в начале октябрьской забастовки выстав- лено не было, и лозунги ее каждая партия толковала по своему.

Наоборот, ноябрьская забастовка с самого на- чала имела определенную политическую идею, ло- зунг, в котором — несмотря на местное происхож- дение его — действительно, заключалось разрешение задачи освобождения России от оков самодержавия.

Если, тем не менее, в первом случае движение получило характер общенациональный, а во втором случае свелось к изолированному выступлению петербургских рабочих и замерло на этой ступени, то объяснение этого нужно искать в тех переменах, которые произошли в общественных группировках за время с 13—14-го октября по 1—2-ое ноября, в том, что за эти три недели, при подходе к вопросу о даль- нейшей борьбе с царизмом, при постановке на оче-

редь вопроса об армии, пути революционного рабо- чего движения резко разошлись с дорогой, из- бранной либеральными элементами общества.

* * *

Относясь отрицательно к выступлению рабочих в защиту кронштадтских матросов, либеральные круги не могли все же не сочувствовать лозунгу про- теста против военного положения в Польше. Но этот лозунг был выставлен Советом Рабочих Де- путатов, — и потому либералы, протестуя против введения военного положения в Польше, старались обставить свой протест так, чтобы никто не мог смешать их с развратителями армии.

Показателен был в этом смысле «польский ми- тинг», созданный в Тенишевском училище Союзом Союзов — насколько помню — 5-го ноября.

Об этом митинге, к устройству которого были привлечены все прогрессивные организации Петер- бурга, Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов, узнал лишь перед самым собранием, когда в Вольно-Экономическое Общество были принесены пригласительные повестки для пред- ставителей Совета. Выступление на митинге было поручено мне¹⁾.

Я поехал туда прямо из Совета, в рабочем платье, усталый и вместе с тем возбужденный от утренних заводских митингов.

¹⁾ Не помню, впрочем, было ли это официальное поручение от президиума Совета, или президиум передал пригласительные повестки в нашу ораторскую коллегию, а оттуда командировали на митинг меня.

124000

мб-ам не (там там правит Лех-нос на мб-бу)
→ на кого ко? 1. на кр-во

Зал Тенишевского училища был полон. Председательствовал Н. Ф. Анненский. Публика интеллигентская: профессора, журналисты, адвокаты, инженеры, — весь цвет Союза Союзов. Здесь и там кучки студентов.

Те же лица, что на университетском митинге 14 октября. Но какая перемена настроений!

Три недели тому назад все уста славословили рабочих, все руки тянулись к пролетариату. А теперь — будто незримая стена выросла между этими людьми и заводскими районами. О забастовке — ни слова. А между тем, — зал освещен стеариновыми свечами, так как электрические станции бастуют; собрание открылось с запозданием, так как конки не работают, и многим пришлось идти через весь город пешком...

Речи показались мне необычайными, странными.

Говорил П. Струве, только что вернувшийся из за границы. Кажется, это было его первое публичное выступление в Петербурге. Его встретили овациями. Говорил он о том, что царь окружен дурными советниками, и что спасение России требует замены этих советников другими, которые понимали бы желания общества.

Это была умеренно-конституционная, монархическая речь. И она отвечала настроению митинга, — во всяком случае, настроению его значительной части. Оратора прерывали аплодисментами, и притом именно в тех местах его речи, которые во мне вызывали наибольшее возмущение.

После него говорил пожилой, почтенный профессор¹⁾. Он пространно и терпеливо доказывал не-

¹⁾ Если память не обманывает меня, это был пр. Кареев.

126

обходимость братских взаимоотношений между русским и польским народами. Говорил о расовом родстве этих народов, о сходстве их языков, об общности их исторической судьбы.

Взял слово какой-то господин в форменном чиновничьем сюртуке. Поведав собранию, что он не то пятнадцать, не то двадцать лет служил фабричным инспектором в Польше, он стал говорить о польских рабочих. Говорил о них в тоне снисходительного доброжелательства: это, мол, не дурные люди; немного, правда, беспокойные, но с ними всегда можно поладить, если уметь подойти к ним и т. д. У меня было впечатление, что именно так должен был бы говорить о своих неграх какой-нибудь либеральный плантатор, с джентльменской корректностью доказывающий соседу, что с рабами не следует обращаться жестоко.

Отмечу еще выступление одного польского общественного деятеля.

В очень красивой, прочувствованной речи он благодарил собрание за то, что оно решилось высказать свой голос против военного положения в Польше. В ответ гремели аплодисменты, и оратор, и публика были растроганы. Особенный восторг вызвали заключительные слова речи поляка: «Всю жизнь я мечтал о братском единении наших двух народов. Порою эта мечта начинала казаться мне несбыточным сном. Но сегодня, видя, сколько русских людей собралось в этом зале для протеста против военного положения в Польше, я больше, чем когда-либо, уверен в том, что мечта моя когда-нибудь станет действительностью».

127

Во время речи этого оратора я обратился к председателю и попросил слова. Н. Ф. Анненский оглядел меня с головы до ног, остановился взглядом на моих высоких сапогах, доверху залепленных глиною и грязью, и, ласково взяв меня за рукав, шепнул:

— Сейчас, сейчас я дам вам слово... Но я очень прошу вас: видите, какое дружное здесь настроение? так не вносите полемики! Не будете, правда?

Увы, при всем моем уважении к старому общественному деятелю, я не мог обещать ему исполнить его просьбу. Все так же приветливо смотря на меня, Н. Ф. сказал:

— Вот, после этой речи, мы объявим перерыв, а после перерыва вы будете говорить.

Старик предвидел, что выступление советского оратора закончится скандалом, и хотел, чтобы хоть первое отделение митинга сошло гладко.

Речь свою я построил чисто по большевистски: противопоставляя революционную борьбу пролетариата половинчатой, соглашательской тактике буржуазии, я отвечал всем выступавшим до меня ораторам и уличал всех их в предательстве против революции и против народа.

— У царя дурные советники? спрашивал я П. Струве: Значит, сам царь хорош! Нужно переменить царских советников? Значит, нужно сохранить царя! И подобные речи раздаются на митинге Союза Союзов, того Союза Союзов, который всего три недели тому назад шел рука об руку с пролетариатом на смертный бой против царизма! И подобные речи встречают здесь сочувственный прием!

И я рассказал анекдот, который тут же сам сочинил:

Старуха — салопница приходит исповедываться к о. Иоанну Кронштадтскому. «Отче святой, грех великий на душе моей, в царя усумнилась я, окаянная, в царя-батюшку больше не верю». Отец Иоанн увещевает ее: «От беса эти сомнения. Ты подумай, — царь ли не печется о своем народе? Да только у царя порой советники злые, — вот, правда до престолу и доходит не сразу. Впрочем это не беда, — скоро царь советников переменит, и все пойдет на лад». Старуха крестится и благодарит кронштадтского чудотворца: «Утешил ты меня, снял грех с души».

— Г. Струве, закончил я напомнил мне о. Иоанна Кронштадтского, а вы, граждане, с вашими аплодисментами, — старуху салопницу.

Я был готов к тому, что мои слова вызовут протесты, свистки, крики «долой». Каково же было мое изумление, когда часть собрания принялась бешено аплодировать!

Когда восстановилась тишина, я перешел к речи профессора:

— Вы против военного положения в Польше, потому что поляки — родственник русским народ. Ну, а если бы польский язык не был похож на русский, тогда вы ничего не имели бы против преследований поляков? Так обосновывать протест против насилий самодержавия значит заранее готовить мостик для примирения с этими насилиями!

Опять загремели аплодисменты, — на этот раз уж абсолютно незаслуженные, так как аргументация профессора не давала оснований для

сделанных мною выводов: профессор говорил, как специалист; применяя общее положение о недопустимости национального угнетения к частному случаю, он брал часть вопроса и разбирал ее со своей специальной точки зрения; это было его право, и нельзя было из этого заключить, что он не нашел бы других аргументов, если бы речь шла, допустим, о насилии над евреями...

Но в собрании, повидимому, уже начали брать верх радикальные элементы (или элементы, желавшие казаться радикальными). Рукоплескания все чаще прерывали мою речь и становились все более шумными.

Я перешел к речи поляка, говорившего последним предо мной:

— Вы нашли горячие слова, чтобы поблагодарить это собрание за манифестацию в защиту вашего народа. Но почему не благодарите вы петербургский пролетариат за его забастовку?

На этот раз почти весь зал разразился аплодисментами, которые перешли в настоящую овацию по адресу Совета.

— Вы сосчитали, сколько людей находится в этом зале, продолжал я, но считали ли вы рабочих, уже четвертый день бастующих в защиту своих братьев в Польше и в Кронштадте? Вы забыли о забастовке, которая происходит за стенами этого здания! Вы забыли о ней, хотя улицы, по которым вы шли сюда, и эти свечи, заменившие электрические лампочки, должны были бы напомнить вам о пролетариате, борющемся против самодержавия, и о вашем долге перед этим пролетариатом!

На этом мне следовало бы остановиться. Но возбужденный возраставшим успехом моей речи, увлеченный противопоставлением нашей революционности их половинчатости, я переходил ко все более высоким нотам. Так сорвалась у меня фраза:

— Ваш митинг протеста не дорого стоит: заплатили двугривенный извозчику, приехали, сидите и слушаете.

Закончил я заявлением, что интеллигенция может принести пользу освобождению России лишь в том случае, если отдаст все свои силы на помощь истинно революционному классу, пролетариату.

Долго не смолкали аплодисменты после моей речи, но я ясно видел, что в собрании произошло расслоение: одни аплодируют, другие сидят неподвижно, видимо, недовольные и моим выступлением, и оказанным мне приемом. Послышалось шикание. За председательским столом стоял Н. Ф. Анненский, бледный, взволнованный.

Когда зал утих, он начал:

— Господа! Я никак не ожидал того, что здесь случилось... Здесь было нанесено оскорбление русской интеллигенции, — а вы аплодировали... Здесь говорили, что ваш протест против насилий царизма стоит не больше двугривенного, — а вы... вы и этому аплодировали!

Рукоплескания заглушили голос председателя. Он протянул обе руки вперед, прося о тишине, показывая, что он еще не кончил. Слышно было, что он говорит что то о Рылееве. Затем, он пошатнулся, ему стало дурно, и его на руках вынесли с эстрады.

129

В зале творилось нечто неопишное, участники собрания бурно препирались между собой. Один инженер (из эсеровских), вскочив на стул, начал речь о том, что эсеры всегда были против интеллигенции. Другой инженер (постоянный оппонент предыдущего оратора в Союзе Инженеров и Техников) ответил речью на тему о том, что на правду нечего обижаться. В задних рядах поднялся какой-то юноша-студент и провозгласил:

— Товарищ и граждан, желающих протестовать против оскорбления, нанесенного русской интеллигенции социал-демократами, прошу выйти в соседнюю комнату.

Он вышел из зала, за ним повалила часть публики. Пошел и я с другими, желая объяснить и положить конец скандалу. Мое появление на этом импровизированном «митинге», созванном для протеста против моей речи, было встречено довольно добродушно. Мне дали слово, выслушали мои объяснения и решили вернуться в общий зал.

Там продолжался сумбур. Н. Ф. Анненский сидел сбоку на эстраде, но уже не председательствовал. Он знаком пригласил меня подойти и спросил, не пожелаю ли я рассеять недоразумения, вызванные моей речью. Я выразил сожаление по поводу этих недоразумений и сказал, что готов объяснить.

Получив слово вне очереди, я заявил, что не имел в виду оскорбить интеллигенцию, и что резкость моих слов была вызвана лишь невниманием, проявленным организаторами митинга по отношению к бастующим рабочим.

В ответ одни аплодировали, другие свистали. Снова сцепились оба инженера. Н. Ф. жал мне руку, благодарил за представленные объяснения. Но... конец митинга потонул в хаосе споров и пререканий. Собрание было сорвано и разошлось, не приняв никакой резолюции.

Конечно, не этого я добивался, стремясь своей речью «толкнуть влево» собрание! Но большевики от моего выступления были в восторге.

Товарищ Антон на другой день поздравлял меня с успехом:

— Вот это здорово! Прямо, что называется, в нашу наплевал либералам.

В его устах это была высшая похвала...

* * *

Приступая после второй забастовки к работам, петербургский пролетариат возвращался к исходному положению своего ноябрьского выступления, — к тому положению, которое сложилось в результате первой всеобщей забастовки и захватного введения 8-часового рабочего дня.

Положение это, с самого начала, было для рабочих неблагоприятно, а за пять дней забастовки оно еще более ухудшилось. Рабочие выходили из борьбы морально и материально ослабленные. А хозяева успели за эти несколько дней столковаться и установить общий план действий. Кроме того, в конце октября на стороне рабочих, как победителей в первой забастовке, было сочувствие общества. А теперь то же общество относилось к рабочим, как к смутьянам, как к беспокойным

элементам, нуждающимся в хорошем уроке и железной узде.

И вот на петербургский пролетариат обрушился ряд ударов:

объявление владельцев 72 металлообрабатывающих заводов о закрытии их предприятий в случае, если рабочие не откажутся немедленно от захватного осуществления 8-часового рабочего дня;

такие же объявления владельцев текстильных фабрик и стекольных заводов;

закрытие казенных заводов.

Мрачная тень всеобщего локаута легла на рабочие кварталы, «костлявая рука голода» протянулась к горлу петербургского пролетариата. Одновременно началось наступление полицейской реакции. В заводских районах появились войска. Полиция и фабричная администрация начали теснить рабочие митинги. А 10 ноября даже Совет Рабочих Депутатов не мог собраться, так как Соляной городок, где было назначено заседание, оказался окружен полицией и солдатами.

Совет тщетно искал новых путей, которые позволили бы петербургским рабочим удержать занятые в октябре позиции.

Таких путей не было. И потому на заседаниях Совета, еще недавно столь торжественных, внушительных, теперь царил растерянность. Начинались порой взаимные упреки между депутатами различных районов и различных заводов. В резолюциях Совета уже не было прежней силы, уже не звучала в них победная медь.

6-го ноября — накануне прекращения забастовки — Совет «настойчиво рекомендует петер-

бургским рабочим приложить все усилия к скорейшему созданию союзов и всероссийских съездов, которые смогут выработать практический способ для осуществления 8-часового рабочего дня».

На следующий день Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов обращается к рабочим с предложением при ликвидации ноябрьской стачки вести борьбу за уменьшение рабочего времени и за повышение расценок по производствам. Это были платонические советы.

В рядах пролетариата уже начинался разброд.

9-го ноября депутаты Семяниковского завода решили обратиться ко всем петербургским рабочим с призывом немедленно ответить всеобщей забастовкой на подготовляемый хозяевами локаут. Это — через два дня после окончания второй забастовки!

Тяжелый осадок оставило заседание Совета Рабочих Депутатов 12 ноября. Это был военный совет во время отступления армии, отступления, грозящего превратиться в бегство.

Отдельные депутаты призывали к борьбе до конца, требовали новой всеобщей забастовки.

Одна работница, представительница ткацкой фабрики Максвеля, произнесла пламенную речь, в которой осыпала упреками мужчин, готовых отступить перед врагом:

— Вы привыкли сладко есть и мягко спать и своих жен приучили к тому же, — вот и трясетесь от страха при мысли о расчете! говорила она: А мы готовы умереть, лишь бы добиться 8-часового рабочего дня!

И она кончила свою речь кличем:

— Победа или смерть!

Но это были индивидуальные вспышки.

А Совет, даже в эти тяжелые дни оставшийся органом рабочих масс, прекрасно сознавал, что в массах воодушевления борьбы уже не было. И потому после страстных споров, Совет принял резолюцию о приостановке борьбы за 8-часовой рабочий день.

Резолюция констатировала, что петербургские рабочие, отдельно от рабочих всей страны, не могут довести до конца борьбу за 8-часовой рабочий день против объединенных сил капиталистов и правительства. «Посему Совет считает необходимым временно приостановить немедленное и повсеместное захватное введение 8-часового рабочего дня. К этому Совет добавляет: что завоевано, то должно отстаиваться и впредь; где возможны, по мнению отдельных заводов, дальнейшие завоевания, там они должны быть взяты... Что касается повсеместного введения 8-часового рабочего дня, то оно остается задачей борьбы. В целях решения этой задачи необходима всероссийская организация пролетариата. Совет Рабочих Депутатов считает необходимым, наряду с повсеместной агитацией и организацией рабочих, использовать, между прочим, предстоящий в Москве съезд рабочих организаций для того, чтобы придать борьбе за 8-часовой рабочий день всероссийский характер».

По буквальному смыслу этой резолюции, Совет, как будто, рекомендовал частичное продол-

жение борьбы за 8-часовой рабочий день на отдельных заводах. Но, в действительности, это был сигнал к отступлению по всей линии, — и именно так было понято решение Совета в рабочих районах.

Но отступление побежденного не останавливает продвижения вперед победителя.

Хозяйская реакция, почувствовав свою силу, спешила решительным ударом сломить сопротивление рабочих и восстановить поколебленную забастовками дисциплину. С каждым часом росло число выброшенных на мостовую рабочих. Приходилось думать уже не о частичной борьбе за ковые завоевания, не о сохранении добытых в октябре уступок, а о том, чтобы не допустить в Петербурге всеобщего локаута.

13-го ноября Совет собрался для обсуждения вопроса, как ответить на занесенный над головами рабочих удар? Как принудить хозяев продолжать производство?

Увы! пустить в ход хоть одно остановленное хозяевами предприятие было для рабочих труднее, чем остановить всю жизнь в стране.

Раздавались голоса: вновь объявить забастовку!

Но это было предложение, подсказанное отчаянием: забастовка не прошла бы. А если бы даже все рабочие Петербурга, как один человек, прекратили работы, это было бы лишь на руку их врагов, готовившихся сковать их цепями голода.

Предложение о всеобщей стачке было отклонено Советом. Решено было выпустить воззвание к населению.

Это означало обращение могущественной пролетарской организации к тактике либералов, — к борьбе посредством резолюций.

Новое отступление...

Рабочие отчетливо чувствовали это. Редели рабочие митинги. Исчез царивший на них энтузиазм. Часть рабочих уже отходила в сторону от недавно дорогих ей знамен.

* * *

Почва колебалась под ногами Совета Рабочих Депутатов. После окончания второй забастовки его заседания стали реже, и дух живой, дух революционного энтузиазма отлетел от них. С каждого заседания депутаты возвращались на заводы с ощущением, что дела идут, чем дальше, тем хуже.

Отлетел дух революции и от Исполнительного Комитета Совета.

Давно ли здесь билось сердце движения, до самых основ потрясшего твердыни царизма? Давно ли самое имя «Исполнительного Комитета» было окружено почти мистическим ореолом? А теперь... Теперь все силы Комитета поглощались делом помощи безработным. С утра до ночи шла здесь выдача пособий. По мере расширения локаута, росла нужда в рабочих кварталах. Это было целое море нужды и отчаяния. Волны его бились о двери Совета, и не было у него сил и средств, чтобы справиться с вставшей перед ним новой задачей.

А между тем, в России продолжала бушевать революционная буря.

13-го — как раз в тот день, когда петербургский пролетариат принужден был капитулировать перед объединенным наступлением хозяев и правительства, — в Севастополе вспыхнуло восстание. Из города оно перекинулось на военные суда. Лейтенант Шмидт поднял над «Очаковым» флаг командующего революционной эскадрой.

В течение трех дней положение на Юге России было крайне напряженное, — неизвестно было, чем кончится разгоревшаяся борьба.

Может быть, исход ее был бы иной, начнись она на неделю раньше, когда петербургский пролетариат боролся за жизнь кронштадтских матросов. Может быть, Петербург и Москва откликнулись бы на события в Севастополе, если бы не испытанное только что петербургскими рабочими поражение.

Но теперь Петербургский Совет должен был ограничиться отправкой приветственной телеграммы восставшим. Много таких телеграмм летело в эти дни в Севастополь. Но это была слабая помощь восстанию.

Победа осталась за самодержавием.

В Петербурге еще выходили революционные газеты¹⁾, еще раздавались революционные речи, но становой хребет движения был уже сломен.

Чувствуя это, Исполнительный Комитет Совета с энергией отчаяния искал вне Петербурга опоры для стремительно идущего на убыль движения.

Связаться с Москвою, облизиться с железнодорожным и почтово-телеграфным союзами, объединить силы пролетариата с силами крестьян,

¹⁾ Первый № «Начала» вышел 13 ноября.

вырвать армию из руки царизма, — вот задачи, которые в эти дни ставили себе руководители Совета. Для разрешения этих вопросов велись переговоры между представителями Совета и представителями других организаций. Но массе рабочих депутатов нечего было делать при этих переговорах, — и этим еще более подчеркивался упадок Совета.

Все чаще, все настойчивее мысль рабочих возвращалась к вопросу о крестьянстве.

— Без мужиков ничего мы не поделаем, — говорили рабочие: — Вся сила у них.

К этому же вопросу приходили рабочие и тогда, когда ораторы на митингах призывали их вести агитацию среди солдат.

— Нам солдаты не поверят, — говорили они: — Вот, когда мужики с ними заговорят, тогда дело по иному пойдет.

Может быть, это мое впечатление было субъективно и основывалось на недостаточно широком круге наблюдений, но у меня в середине ноября было отчетливое ощущение того, что рабочее движение в Петербурге — а может быть, и во всей России — уже исчерпало свои силы, что теперь очередь за деревней.

Это ощущение не оставляло меня и в дни почтово-телеграфной забастовки.

Вопросу об этой забастовке было посвящено заседание Совета Рабочих Депутатов 19-го ноября, — последнее заседание, на котором мне пришлось присутствовать.

Здесь обсуждался, между прочим, вопрос о том, как прекратить перевозку международной коррес-

понденции. Постановлено было обратиться с призывом:

к машинистам, — чтобы они отказались водить поезда с почтовыми вагонами;

к сцепщикам, — чтобы они отказывались прицеплять такие вагоны;

к линейным служащим, — чтобы они задерживали поезда, везущие почту;

к публике, — чтобы она не ездил в почтовых поездах.

По внешней форме, резолюция была разработана почти так же обстоятельно, как принятое ровно месяц тому назад постановление о свободе печати. Но это было лишь обманчивое внешнее сходство: тогда Совет приказывал; теперь он обращался с воззваниями к различным группам граждан, — в частности, к такой группе, как железнодорожная публика...

Это было начало конца петербургского Совета Рабочих Депутатов.

* * *

Прежде чем перевернуть в своих воспоминаниях страницу, на которой столько раз повторялось имя первого Совета Рабочих Депутатов, я хотел бы остановиться на вопросе:

Чем же была, в конце концов, эта организация, в свое время внушавшая столько надежд пролетариату, столько страха и ненависти его врагам?

Мне кажется, что в истории русского революционного движения до сих пор господствует большая путаница в понимании природы этой организации.

В изданной в 1906 г. «Истории Совета Рабочих Депутатов» Троцкий следующим образом выразил господствовавший в то время среди советских деятелей-меньшевиков взгляд на природу Совета:

«... Сущность Совета состояла в том, что он был или стремился стать органом власти. ... Совет осуществлял власть, поскольку она уже фактически была в его руках; он непосредственно боролся за власть, поскольку она оставалась в руках военно-полицейской монархии. До Совета мы находим в среде промышленного пролетариата революционные организации, в подавляющем большинстве социал-демократические. Но это — организации в пролетариате; их непосредственная цель — борьба за влияние на массы. Совет есть организация пролетариата; его цель — борьба за революционную власть»¹).

Такое представление о петербургском Совете Рабочих Депутатов мне представляется в корне ошибочным.

В чем проявлялось осуществление власти Советом? В том, что в дни забастовки его слово могло остановить или пустить в ход любое предприятие. Эта власть распространялась исключительно на рабочих и ограничивалась лишь одним вопросом —

¹) «Совет и революция», стр. 9.

бастовать или работать¹). Но такую власть в каждой забастовке осуществляет руководящий движением орган, — будь то стачечный комитет, профессиональный союз или биржа труда²).

А вне этих пределов в деятельности Совета не было ничего, что можно было бы признать за «осуществление власти». Ибо требуется слишком пылкое воображение, чтобы усмотреть «осуществление власти» в ночном захвате десятком вооруженных людей типографии для отпечатания очередного

¹) В цитированной книге Сверчкова высказывается прямо противоположный взгляд на характер власти петербургского Совета: «Распоряжения Совета, утверждает автор (стр. 146), выполнялись беспрекословно и точно не только рабочими, которых он представлял, но и огромной массой обывателей. Со всеми нуждами они шли в Совет, и власть Совета оказывалась достаточной для того, чтобы разрешить вопрос, не разрешаемый официальными правительственными учреждениями». Достаточно сопоставить эти категорические утверждения с тем убогим фактическим материалом, которым подкрепляет их автор, чтоб убедиться, что мы имеем дело с творимой легендой. К Совету обращались сотни тысяч рабочих и редкие единицы из нерабочей среды.

²) Недавно Н. Подвойский во 2-ом № „Историко-революционного Бюллетеня“ (Москва, 1922 г.) напомнил, что первый Совет Рабочих Депутатов был создан в мае 1905 г. во время стачки Иваново-Вознесенских рабочих. В этом Совете Н. Подвойский видит «новую форму пролетарской власти». И действительно, если и в петербургском Совете видеть «орган власти», то нет оснований смотреть по иному на Совет, собиравшийся весной 1905 г. под Иваново-Вознесенском. Но Иваново-Вознесенская забастовка была в свое время подробно описана в зарубежной с.-д. печати (в «Искре» и «Пролетарии»). Это была чисто экономическая стачка без всяких политических лозунгов. Администрация вначале относилась к ней терпимо, не препятствуя собраниям забастовщиков на р. Талке. А кончилось это выступление рабочих довольно печально, — погромом, в котором вместе с забастовщиками участвовали казаки. Орган, руководивший забастовкой, был самым обыкновенным стачечным комитетом, и в свое время никому не приходило в голову видеть в нем особую «форму власти».

№-ра «Известий», или в вынесении резолюций, или в издании воззваний, или в выдаче пособий безработным!

Была, правда, в деятельности Совета полоса, когда он создавал рабочие дружины и охранял порядок и спокойствие в рабочих кварталах. Но то же самое в период погромов делали все революционные — да и не только революционные — организации, и это не дает оснований смотреть на них, как на органы власти.

Правда, в те дни, когда Совет был на вершине силы, петербургские рабочие говорили о нем: «наше правительство». Но этим они выражали лишь степень своего доверия к своему выборному органу. Точно так они могли назвать «рабочим правительством» свой профессиональный союз или партийный комитет.

А ярлыки черносотенной прессы? Ехидные замечания «Нового Времени» о двух правительствах, существующих в Петербурге, — правительстве графа Витте и правительстве Хрусталева?

Нет сомнений, что так отнеслась бы реакционная пресса к каждой революционной организации, которая оказалась бы достаточно влиятельной и сильной, чтобы заставить своих врагов считаться с собой. Но публицисты-черносотенцы плохие эксперты для определения природы того или другого возникающего в ходе революции органа!

Может быть, Совет стремился стать органом власти?

Намек на такое стремление можно найти в обращении к Городской Думе с требованием о вы-

даче денег на организацию рабочей милиции. Но это относится к кампании, предпринятой Советом в те дни, когда он еще не имел политического веса, еще не нашел своего революционного призвания. Вся эта кампания была откликом искровского плана создания органов «революционного самоуправления», и в дальнейшем Совет не возвращался к возбужденным в эти дни вопросам.

Совет боролся за установление революционной власти, но он ничем не обнаруживал притязания стать носителем этой власти. Он мыслил революционную власть, как власть всенародную, вышедшую из всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, — эта точка зрения ясно выражена во всех его политических резолюциях. Другими словами, Совет стремился к установлению народовластия, но отнюдь не к захвату власти¹⁾. И в этом его стремления совпадали со стремлениями революционных партий, которые тоже добивались установления революционной власти, не претендуя на роль исключительных ее носителей.

Итак, Совет не был и не стремился стать органом власти. Но чем же был он в таком случае?

¹⁾ Я не сомневаюсь, впрочем, что при ином обороте событий, — в частности, если бы переход на сторону революции воинских частей передал в руки Совета материальную, вооруженную силу, — в Совете могло бы появиться стремление стать органом власти. Не сомневаюсь и в том, что при такой ситуации, — то есть, при резком подъеме революционной волны, — большевики, относившиеся весьма ревниво к росту влияния и силы Совета, переменили бы свой взгляд на Совет. Но все это — рассуждения о том, что могло бы случиться, но что не случилось, — по крайней мере, в 1905 г.

Всего Совет собирался 20 раз¹⁾, — в том числе 7 раз (13, 14, 15, 17, 18, 19 и 20-го октября) во время октябрьской забастовки и 5 раз (2, 3, 4, 5 и 6-го ноября) во время ноябрьской забастовки. Из остальных заседаний одно (1-го ноября) решило объявить всеобщую забастовку в защиту кронштадтских матросов, другое (13 ноября) отвергло предложение о всеобщей забастовке в ответ на локаут, третье (19 ноября) было посвящено изысканию средств поддержать забастовку почтово-телеграфных служащих. Остаются еще пять заседаний: 22 октября — отказ от демонстративных похорон, 29 октября — решение о революционном введении 8-часового рабочего дня, 12 ноября — отказ от дальнейшей борьбы за 8-часовой рабочий день, 27 ноября — обсуждение ареста Хрусталева и 3 декабря — несостоявшееся заседание, о котором я расскажу ниже, и арест Совета.

Вот весь пройденный Советом Рабочих Депутатов жизненный путь. И окидывая его одним взглядом, мы ясно видим, что Совет был ничем иным, как стачечным комитетом петербургских рабочих, но при этом, стачечным комитетом, который руководил политическими стачками исключительного исторического значения, стачками, отмечавшими высшую точку подъема революционной волны.

Стачечный комитет! Не больше и не меньше! Он возник в ходе октябрьской забастовки, принял на себя руководство ею, довел ее до конца, и остался на посту, ликвидируя ее последствия и

¹⁾ Подробно о всех заседаниях см. в „Истории Совета Рабочих Депутатов г. С.-Петербурга“.

держась наготове на случай возникновения новой стачки. Он провел и вторую всеобщую забастовку, и после нее остался распутывать стоявшие перед рабочей массой вопросы.

Совет был плотью от плоти и кровью от крови петербургского пролетариата. И вместе с тем, он был продуктом определенного исторического момента — октября 1905 года.

Как вся рабочая масса, как все революционные партии, он верил в близость вооруженного восстания, жил этой верой и в ней почерпал утешение и силы в дни поражений.

Он звал к восстанию и был уверен, что, со своей стороны, это восстание подготавливает. Но как ничтожна выполненная им в этом направлении работа! Несколько сотен револьверов и дробовиков, ночные патрули за заставами, железные пики и ворох воззваний...

В действительности, будучи по природе своей стачечным комитетом, Совет не имел в руках иного оружия борьбы, кроме забастовок, и потому в те минуты, когда забастовка была невозможна, он оказывался безоружен и бессилен перед врагом, — и это бессилие его лишь в слабой степени прикрывалось словесным огнем резолюций. Какой вопрос ни вставал перед Советом, практическое решение его всегда сводилось к дилемме: забастовка или резолюция. Первое решение означало тактику наступления, второе — отступление перед врагом.

Не Совету принадлежала заслуга октябрьских побед пролетариата, и не на нем ответственность а ноябрьские поражения. Но в эти бурные дни он

жил жизнью, мыслями, чувствами, волей рабочей толпы, жил ее надеждами и ее иллюзиями, ее радостями и ее горем. Вместе с рабочей массой ему суждено было, после коротких часов упоения победой, пережить горечь поражений. И это сообщает его облику в истории отпечаток не только величия, но вместе с тем какого то глубоко трогательного драматизма.

III. В ДЕРЕВНЕ.

Крестьянский вопрос в 1905 году. — Поездка в деревню. — Учительский съезд. — В крестьянской избе. — Конец съезда. — Митинг в сельской школе. — «Коровья смерть». — Неудача. — Застава. — На стекольном заводе. — Нападение. — На ст. Боровенке. — Самосуд. — Глаза. — Арест.

С каждым днем все больше внимания уделялось на наших митингах, на партийных собраниях и в революционной печати крестьянскому движению и аграрному вопросу.

Я уже говорил о том, что борьба между социал-демократами и эсерами при открытии высших учебных заведений в середине сентября сводилась к спору, какой ожидать революции, — городской или деревенской, рабочей или крестьянской. Позже, в период заводских митингов, полемика между обеими партиями вновь выдвинула на передний план вопрос о крестьянстве. А с начала ноября, когда стала выясняться трагическая изолированность рабочего класса и обреченность чисто городского революционного движения в земледельческой стране, внимание рабочих масс с какой то стихийной силой обратилось к вопросу о роли крестьянства в завязавшейся борьбе. В середине ноября не было другого вопроса, который хоть приблизительно в такой мере интересовал бы петербург-

ских рабочих. У меня осталось вполне отчетливое впечатление, что после ноябрьской забастовки рабочая масса Петербурга чувствовала, что даже вопрос об армии, вопрос, который она пыталась разрешить своим выступлением в защиту кронштадтских матросов, может быть окончательно разрешен лишь восставшей деревней.

Но деревня была для городской революции 1905 года неразрешимой, мучительной загадкой.

Я лично, как человек, никогда не бывавший в деревне и знавший крестьянскую жизнь лишь по литературе, чувствовал свою полную беспомощность перед лицом этой загадки. И мне казалось, что почти столь же беспомощны были перед нею товарищи, считавшие себя знатоками аграрного вопроса и выступавшие на митингах от имени «многомиллионного крестьянства».

В глубине России, в деревне, творилось что-то большое, непонятное. Газетные сообщения не давали ясной картины протекавших там процессов.

В первых числах октября, еще до начала все-российской забастовки, вспыхнули с неожиданной силой аграрные беспорядки в Саратовской губернии. Оттуда пожар перекинулся в Самарскую губернию. Затем запылали помещичьи усадьбы в Курской, Воронежской, Орловской и Тамбовской губерниях, на Украине, на Кавказе, в Польше, в Прибалтийском крае. «Красный петух» гулял по России...

В дни первой забастовки казалось, что эти поджоги помещичьих усадеб, разгромы экономий, винокуренных и сахарных заводов знаменуют начало всеобщего крестьянского восстания, которое

должно слиться в единый могучий поток с движением городского пролетариата. Но на другой день после опубликования манифеста, рядом с рубрикой «аграрных волнений» в газетах появился новый обширный отдел сообщений из провинции: «погромное движение». Те же самые мужики, что вчера громили помещиков, сегодня с трехцветными флагами, с царскими портретами, под руководством полиции шли бить крамольников.

К концу октября погромы в городах пошли на убыль. Возобновились поджоги помещичьих усадеб в деревнях. Кое-где местная полиция пыталась противодействовать беспорядкам. Появились известия о насильственных действиях крестьянской толпы против представителей власти, — здесь убили исправника, там разгромили полицейское управление, в другой губернии помяли нескольких урядников. Но при приближении воинских команд беспорядки прекращались повсюду — по крайней мере, в Центральной России.

В Москве собрался крестьянский съезд. На него одни смотрели с надеждой, другие со страхом, от него ожидали многого. Но очень быстро на него установился в обществе взгляд, как на собрание не настоящих крестьян. Внушали недоверие и революционные приговоры крестьянских обществ, появлявшиеся в газетах, — особенно, в эзеровском «Сыне Отечества».

Что представляют собой эти приговоры и речи на крестьянском съезде? спрашивали себя очень многие: Подлинный ли это голос крестьянской России, или мнение отдельных кучек, потерянных в крестьянском взбаламученном море?

Тогда трудно было определить причины такого недоверия к раздававшимся из деревни голосам. Теперь причины этого недоверия слишком очевидны.

В середине ноября аграрные беспорядки утихли. Оказалось, что за 1½ месяца в 300 уездах разгромлено, сожжено, разрушено, в общей сложности, около 2 000 усадеб, экономий, заводов.

2 000 — цифра огромная. Но и Россия огромна: число усадеб и экономий в ней почти в 100 раз больше этой цифры. Значит, пострадал приблизительно 1% помещиков, в аграрных беспорядках участвовало около 1% крестьян. А остальные 99%?

О них мы не знали ничего.

В Совете Рабочих Депутатов не раз подымался вопрос о необходимости теснее связаться с крестьянским движением.

5-го ноября, в тот самый день, когда решено было прекратить вторую забастовку, в Совете выступила делегация от крестьян Сумского уезда. Ее встретили бурными овациями.

Представитель деревни просил Совет разрешить крестьянам присоединиться к стачечному движению. Он рассказывал, что в Сумском уезде с весны действует крестьянский союз, который уже провел с успехом экономическую забастовку в ряде имений. Теперь крестьяне ждут лишь разрешения, чтобы примкнуть к политической борьбе пролетариата.

Это заявление было отмечено, как отрядный симптом, было принято, как Благая Весть...

Помню еще одно выступление представителей крестьян в петербургском Совете. Но на этот раз выступали крестьяне окрестностей Колпина, и было совершенно ясно, что, под видом отчета о настроениях деревни, они говорят о том, что думают рабочие Колпинского завода.

Итак, во второй половине ноября, когда, истощая остаток своих сил, петербургский пролетариат с тоской и надеждой ждал помощи со стороны «братьев — крестьян», — во второй половине ноября мы очень мало знали о настроениях деревни, и «установление связи между двумя отрядами революционного народа, пролетариатом и крестьянством» оставалось для нас музыкой будущего.

Меня лично в эти дни очень тянуло в деревню, — тянуло так, как манит путешественника вглубь неисследованной страны, полной тайн и опасностей...

И вот, совершенно случайно, мне пришлось, прямо с заседания петербургского Совета, перенестись в деревенскую глушь, в захолустья Новгородской губернии. Я пробыл там всего три дня, и с моей стороны было бы смешно утверждать, что за эти несколько дней я узнал русскую деревню.

Но все же, то, что я видел в деревне, представляется мне не лишенным интереса, — хотя бы потому, что только здесь, в деревенской глуши, я почувствовал по настоящему, какая пропасть отделяла городское движение 1905 года от мужицкого моря. Непригодными оказались здесь все мои понятия, все представления, — казалось, я попал в новый мир, а между тем я был всего в нескольких часах езды от Петербурга.

190.

Эта поездка отчетливо сохранилась в моей памяти. На следующих страницах я хочу рассказать о ней, — без чрезмерных подробностей, но со всей доступной мне точностью.

Оговариваюсь, это — не характеристика русской деревни в 1905 году, а лишь описание того, что я видел в Крестецком уезде Новгородской губернии в течение 3 дней — 20, 21 и 22 ноября 1905 года.

* * *

Я говорил уже, что попал в деревенскую глушь совершенно неожиданно, прямо с заседания Совета Рабочих Депутатов. Это заседание происходило 19 ноября, в разгар почтово-телеграфной забастовки. Помню прекрасно зал Вольно-Экономического Общества, нахмуренные, серьезные лица рабочих депутатов, их речи. Обсуждался вопрос, как помочь почтово-телеграфным служащим. Как в прежние дни, раздавались призывы к борьбе до конца, но уже не было за этими призывами прежней силы. И в настроении собрания чувствовалась какая-то неуверенность, надломленность, будто пепел сомнения уже покрыл сердца, еще недавно горевшие энтузиазмом.

Я сидел в глубине зала, у стены, слушал внимательно речи, и чем дальше слушал их, тем тяжелее становилось у меня на душе.

Ко мне подсел Евгений (А. Литкенс). Угадывая мое настроение, он шепнул мне:

— Что, товарищ Сергей, скучно здесь?

— Да, невесело.

— Говорил я вам, нужно уезжать отсюда в деревню.

Евгений, действительно, уж несколько раз заговаривал с мной о том, что партия должна была бы серьезнее заняться крестьянством и мобилизовать для работы в деревне не только все интеллигентные силы, но и передовых рабочих. Он предлагал мне поставить этот вопрос перед ораторской коллегией и Петербургским Комитетом. Но я каждый раз отговаривался тем, что не знаю деревни и условий работы в крестьянстве.

На этот раз я ответил:

— Что же? Я поехал бы... Но куда?

Евгений расцвел:

— Выйдите со мною. Я расскажу вам...

Мы вышли в обширную комнату перед залом заседаний. Здесь, на ворохах сваленного прямо на пол верхнего платья, виднелись свернувшиеся фигуры спящих людей, — агитаторы, сваленные усталостью после ряда тревожных дней и бессонных ночей. Уныло бродили по комнате понурые, тоже смертельно усталые люди.

Евгений, спеша, волнуясь, рассказывал мне:

— Представьте, прихожу я сегодня на явку, а там товарищ прямо из деревни, сельский учитель. Его в Петербург послали за литературой и агитаторами. Завтра у них съезд учителей с целого уезда. Готовые связи, готовые кадры работников! Вы, товарищ Сергей, понимаете, что это значит? Сговоримся с учителями, поможем им немного, устроим десяток митингов, — и через неделю целый уезд закреплен за революцией. А тем временем подготовим съезд учителей в соседнем уезде, — и

туда! Еще неделя, — и второй уезд за нами. В какой-нибудь месяц подыдем всю губернию:

— Увлекаетесь, заметил я.

— Ничуть! Важно только точку опоры отыскать. А какая точка опоры для работы в деревне лучше, чем сеть союзов сельских учителей? Вот, вы увидите сами. Ведь вы едете со мной?

— А где с'езд?

— Недалеко здесь... Шесть часов езды по Николаевской железной дороге. Вот адрес: станция Боровенка, Хоринская школа, спросить учителя.

— Хорошо, едем!

Поезд отходил в 1-м часу ночи. В вагоне 3-го класса было тесно и шумно. Сев друг против друга у окна, мы с Евгением попытались, было, заснуть. Но в нашем отделении загорелся спор. Сцепились двое: долговязый парень в мятой бескозырке и плотный, бородатый мужчина в теплой шубе. Оба «под градусом».

Парень настойчиво твердил:

— Я кровь свою проливал за Рассею.

А бородач на каждое его слово возражал:

— Врешь.

Это выводило парня из себя.

— У меня все факты налицо! кричал он.

— Знаем вашего брата. Врешь.

— Я тебе документы в формальности представлю, что кровь проливал.

— А ты какого полка?

— Генерала Мищенко летучего отряда на левом фланге.

— А полк твой как звался?

— Да не полк, а отряд!

— Вот и врешь, — какой солдат без полка?

— Да я под самым генералом Мищенкою кровь свою проливал! Понял ты?

Этот спор заинтересовал пассажиров. Сгрудились со всех сторон. Тянутся любопытные лица из соседних отделений.

Долговязый парень полез в свой чемоданишко, искал там каких то «фактов», но ничего не нашел и все твердил:

— Я кровь свою проливал за Рассею. Япония нам — раз плюнуть — давно б сокрушили.

А бородач в шубе упрямо стоял на своем:

— Все врешь.

Евгению эта сцена показалась забавной, он рассмеялся.

Парень в бескозырке обиделся.

— Ты чего зубы скалишь? напустился он: Рад, что жида Рассею сгубили. Ты кто?

Бородач неожиданно перешел на его сторону и строго сказал:

— Оно и впрямь, жида Рассею сгубили, да и радуются. Оно б любопытно узнать, куда вы ехать изволите.

Евгений ответил задорно:

— Еду, куда хочу, а отвечать вам не буду.

Я, разумеется, поддержал его.

Парень из летучего отряда обратился к столпившимся вокруг пассажирам:

— Братцы! Вот они, погубители наши. Жиды ли, скубенты ли, шут их разберет. А только через них Рассея погибла, продали ее нехристи супостату.

192

Бородач и еще два-три пассажира поддакивали ему. Мы с Евгением не знали, смеяться или сердиться, — казалось нелепым ни с того, ни с сего попасть в пьяный скандал.

А парень становился все назойливее.

— Должен я действовать, кричал он, размахивая руками: когда я верноподданный за веру, царя и отечество.

Но тут из соседнего отделения кто то крикнул:

— Сюда, товарищи! Тут черная сотня завелась. Иди на верноподданного смотреть!

В проход между лавок протиснулось человек пять в картузах, в полупальто. Один из них, с виду мастеровой, взял за плечо человека в шубе.

— Борода, это ты тут про жидов раззорялся?

— Да что ты? заволновался тот: Господь с тобой! Да я ни слова... По своему делу я еду, торговля у меня. Меня в Пскове все знают...

— А кто тут верноподданный?

Долговязый парень растерянно сопел носом.

— Охота вам, товарищ, с пьяными связываться, сказал я мастеровому: У вас в отделении место найдется?

— Потеснимся маленько.

Перебрались в соседнее отделение. Там ехала компания рабочих-металлистов, нанявшихся на какой то завод под Москвой, все молодые, веселые, революционно настроенные. Затянули рабочую марсельезу. Мы не заметили, как прошла ночь и начало светлеть небо.

Вот и ст. Боровенка. Попрощавшись с нашими попутчиками-рабочими, вылезает из вагона.

Длинная платформа. Возле вокзала кучка станционных строений. Кругом лес и снег. Справа, за полотном железной дороги, сплошной стеной тянутся осыпанные снегом темные сосны. Слева, за вокзалом, теряется среди сугробов проезжая дорога.

Где же тут Хоринская школа? Спросить некого. Начальник станции и станционный сторож, пропустив поезд, ушли куда то. Ушел вслед за ними и малодцеватый жандарм. На платформе, кроме нас, остался лишь один мужичок, — невысокого роста, в желтом тулупе, в теплой шапке, в кожаных рукавицах.

— Его, что ли, спросить?

Мужичок подошел к нам. Лица его нельзя разглядеть. Брови, усы, борода сплошь покрыты инеем и ледяными сосульками.

— Вы, господа, видать, не здешние? спросил он нас: Не из Петербурга ли приехали? Может, ищите кого?

— Да, нам бы в Хоринскую школу, к учителю...

— А вот я вас доставлю. Вас то я и поджидаю. Который поезд пропустил, все жду...

Мы лежим в душистом сене на скрипучих розвальнях и, ныряя между сугробами, несемся куда то...

За станцией спуск под гору, здесь раскинулось несколько десятков крестьянских изб. Это деревня Боровенка. Дальше поля, черные изгороди, четкие силуэты деревьев; еще дальше, посреди снега, кучка изб, будто игрушечные домики высыпаны на голубовато-белую скатерть. А вот еще деревушка, вот третья.

143

Как все это непохоже на картины, оставшиеся позади!

Наш возница, повернувшись к нам лицом и бросив вожжи, рассказывает:

— Вчерась, это, говорит мне учитель: «Хочешь, Лазарь, хорошему делу пособить?» — А я ему: «От тебя, говорю, Фома Григорьевич, мы кроме хороших дел плохого не видели». — «А, коли так, говорит, то поезжай-ка на станцию, — там, ночью или под утро, добрые люди к нам приедут, из самого Петербурга. А мест они наших не знают и дороги найти не сумеют, так ты их, говорит, к нам в Хорино представь». — Вот, я и поехал. Потому, Фомой Григорьевичем очень мы довольны. Сколько у нас учителей перебивало, а лучше него мы не видали. Газетки теперь общество через него получает. Большая от этого польза.

Ровной рысцой бежит вся белая от инея лошаденка. Скрипят, качаются розвальни. Кругом ни души. Синее небо, голубой снег. И плавно течет неторопливая речь Лазаря. Жалуются, что земли мало, что леса нет, что все места получше «еще при реформе» помещиками захвачены.

Мы с Евгением слушаем, и от его слов льется в душу бальзам спокойной веры в крестьянство, в русский народ, в революцию.

— Видите? шепчет мне Евгений: Вот, как здесь подвинута работа. Много ли еще нужно? Меньше, чем через неделю...

— Шш... успокаиваю я его: Слушайте!..

А Лазарь продолжает говорить. Теперь он рассказывает о предстоящем учительском съезде:

— Впрямь, хорошее дело. Соберутся, это, учителя со всего уезда, потолкуют и о нашем крестьянском деле. Авось, что и придумают.

* * *

Приехали в Хорино. Небольшое село, все занесенное снегом. У церкви бревенчатый дом с надписью над крыльцом: „Школа“. Напротив большая изба. В'ехали в растворенные настежь ворота.

Лазарь постучал в окошко и доложил радостно:

— Фома Григорьевич, привез тебе гостей.

Из избы вышел учитель, здоровяк с широкой улыбкой на румянном, смуглом лице, с целой копной волос на голове.

Поздоровавшись, он повел нас в избу. Но при-остановился в сенях, будто вспомнил что то и спросил шопотом:

— От Комитета или от Группы?

— От Комитета.

Улыбка еще шире разлилась по его лицу, и он сказал:

— Вот это хорошо! Терпеть не могу меньшевиков, — совсем не годятся для работы в деревне.

Вошли в избу. В обширной, в три окна, горнице, было человек двадцать, все больше молодые люди в высоких сапогах или валенках, в пиджаках поверх цветной рубахи. Отдельной кучкой держались в углу, у окна, девушки, скромно, но опрятно одетые, с отпечатком чего то праздничного и в одежде, и в позах, и в раскрасневшихся с мороза лицах.

199

Фома Григорьевич подвел к нам пожилого человека с совершенно лысой головой:

— Вот, товарищи, познакомьтесь, — председатель нашего съезда, можно сказать, вдохновитель нашей работы, товарищ Соколов.

Старик отмахивался:

— Какой я вдохновитель? В мои то годы!... Рад, что попал к вам, пока меня за старостью и надобностью со службы не выгнали...

В это время к нам приблизилась странная фигура, на которую я с самого начала обратил внимание, — человек огромного роста, в длиннейшем черном сюртуке, в «крахмалях», с гордо поднятой головой, рябым лицом и слегка раздвоенным на конце утиным носом. Протянул мне руку и, отчетливо шаркнув ногой, отрекомендовался:

— Учитель Зайцев.

Затем сообщил конфиденциально:

— Собственно говоря, съезд этот из-за меня. Но со временем все объяснится.

Хоринский учитель, довольно неловко оттиснув Зайцева в сторону, предложил нам:

— Хотите школу посмотреть?

Перешли через дорогу. Учитель отпер дверь школы и ввел нас в классную комнату.

Обычная обстановка, но на всем следы заботливости, внимания, — свежее выбеленные стены, тщательно вытертые стекла, на полу ни соринки.

— Вот моя школа! с гордостью говорил учитель: Три отделения. Хотел я здесь вечерние собеседования с крестьянами устраивать, да не вышло: законоучитель пожелал присутствовать. А он не то, чтобы плохой человек, да все же стесняет мужи-

нов. Приходится собираться то у меня в избе, то у Лазаря, то в сельском правлении, — туда о. Михаил не полезет... Да сегодня он в отъезде, сегодня можно бы и в школу мужиков созвать. О. Михаилу я сказал бы, что и его приглашал, да не застал дома...

К избе учителя подъезжали санки и розвальни. Вылезали из них люди, покрытые инеем, видно, приехавшие издалека.

Со двора кричали:

— Куда хозяин запропастился? Иди, Чучин, собрание открывать!

Мы вернулись в избу учителя. Теперь в горнице набилось уже человек пятьдесят. Установили лавки, взятые из сеней и со двора, приладили какие то доски, — и все разместились. Было тесно, но весело, стоял гул голосов. С любопытством смотрели на нас.

Чучин три раз хлопнул в ладоши и спросил:

— Что же, откроем собрание?

— Можно! Пора!

— Так будем просить старшего из нашей среды, тов. Соколова, председательствовать.

— Просим, просим!

Соколов, сидевший у стены на лавке, поднялся.

— Благодарю вас, друзья, за честь, но я с этим делом не справлюсь. Будем просить Чучина: он при случае и прикрикнуть сможет, и кулаком по столу стукнет, а я — какой председатель?

В конце концов, выбрали президиум: Соколова — председателем, а хоринского учителя — на помощь ему, товарищем.

— Объявляю с'езд народных учителей Крестецкого уезда открытым, провозгласил Соколов: Приступим, друзья, к выработке порядка наших занятий.

— Прошу слова! поднялся Зайцев.

Он вытащил из бокового кармана сложенную вдвое тетрадку, разгладил ее на колене и начал:

— Я человек прямой и не позволю себе действовать исподтишка, как другие. Если мы за правду стоим, то, как передовой элемент, должны сказать это при полном свете гласности. У меня здесь записаны все обвинения, и я готов представить фактические опровержения, так что, раз вы обратились здесь судить меня, судите, а только душа моя чиста перед людьми и перед Богом...

Наклонившись к Соколову, я тихо спросил его:

— Он — сумасшедший?

— Не совсем, раздумчиво ответил председатель: но человек нехороший, тяжелый. Мы его на с'езд не звали. Да он стороной пронюхал и, вот, явился...

— Так остановите его, что он несет?...

— А как же свобода слова? колебался старик. А Зайцев, между тем, продолжал свою речь:

— Говорят, я учеников бью. Где доказательства? На Аксютку Климову ссылаются, — так это такая дрянь — девченка, что всего я, извините, даже рассказать здесь не могу, и покорнейше прошу уволить...

— Много было, опять, разговору, будто я, в пьяном виде, о Рождество, с отцом дьяконом подрался и бутылкой голову ему попортил. Так я на то скажу: весь уезд меня знает, и всем известно, что я хмельного в рот не беру. А что до дьякона,

то какой он служитель святого алтаря, когда он вор и разбойник, и сукин сын, и сам первый же драку начал?..

Тут Соколов, несмотря на свободу слова, решил вмешаться.

Но много усилий пришлось затратить ему и Чучину, чтобы остановить оратора. Да и то не знаю, справились ли бы они со своей задачей, если бы на помощь им не подоспел молодой скуластый учитель мужиковатого вида, заявивший:

— Чего на него смотреть? За шиворот его, — да за дверь.

Выработали порядок дня: 1) Цели объединения учителей; 2) Форма объединения (союз или партия?); 3) Ближайшие задачи.

По вопросу о целях объединения первым говорил Соколов. Говорил он просто, задушевно, но немного скучно. Во время его речи учителя подходили к Чучину и что то шептали ему на ухо, поглядывая в нашу сторону, — видно, предлагали дать слово петербургским гостям.

Когда начал говорить Евгений, собрание насторожилось. То, что он говорил, была самая обыкновенная агитационная речь — о революции, о долге интеллигенции народу, о том, что в «единении сила». Но какую яркость вновь обретали здесь слова, уже выцветшие и поблекшие на петербургских митингах!

Снова, как в сентябре, перед нами были люди, еще не изведавшие ни сомнений, ни разочарований.

Когда Евгений кончил, один из учителей попросил слова.

— Мы в деревне работаем, сказал он, а рево-

люция идет, все больше, из городов. Товарищи из Петербурга, может, объяснят, как нам на шее дело с ними связать?

Председатель попросил меня сделать «доклад». Из собрания раздавались новые вопросы, просили разъяснений, дополнений. Пришлось говорить без конца.

В это время в горницу вошло человек пять крестьян с нашим знакомцем Лазарем во главе. Чучин подошел к ним, пошептался, затем вернулся к председательскому столику, довольный, улыбающийся.

Когда я кончил, он сказал:

— Теперь, товарищи, время обеденное, пора перерыв устроить, подкрепиться.

Ему ответили хохотом:

— Перерыв сделать недолго, а с обедом придется подождать.

— Разве ли ты накормишь?

— Верно, у Фомы Григорьевича на сорок человек обед приготовлен, то-то он угощает.

— Приготовлен, товарищи, отвечал учитель: Хоринские крестьяне просили меня сообщить собранию, что всех членов съезда они считают гостями общества. Просят всех к себе, по избам, пообедать, чем Бог послал.

А мужики стояли в дверях, кланялись в пояс, подтверждая приглашение учителя.

Это было трогательно и красиво.

* * *

Разбрелись по крестьянам. Мы с Евгением пошли в избу Лазаря. Старик был преисполнен гордости от того, что у него обедают петербургские гости.

Семья у него была большая, за стол село человек пятнадцать мужиков, баб, ребятишек. Обед был праздничный — огромный пирог с капустой, щи с говядиной, кисель. Ели медленно, степенно. Лазарь и его старший сын поддерживали с нами «политический» разговор. Спрашивали, будут ли еще забастовки, скоро ли вернутся войска из Манчжурии.

Мы с Евгением не могли очнуться от изумления: так вот, что творится в деревне! Мужики, оказывается, распропагандированы не хуже, чем рабочие.

Начали расспрашивать Лазаря о местных делах:

— Как у вас крестьяне настроены?

— Ничего, спасибо Фоме Григорьевичу, начали разбираться.

— А в других деревнях?

— Деревня на деревню не похожа. Где кто силу имеет, — где поп, а где учитель, где бедняки, а где богатые.

И глубоко вздохнув, старик прибавил:

— Забастовки шибко нашему делу повредили.

Это было для нас неожиданностью, — мы были так уверены, что забастовки революционизировали деревню.

Лазарь объяснил нам:

— Обижались мужики, что чугушка стала. Сколько народу вокруг нее кормится, а как пошли забастовки, — все голодом насиделись. С этого и начались промеж нас раздоры. Вот, к примеру, наше Хорино, а в 20 верстах — Боровенка. Кажись, здесь мужики и там мужики, — одна партия. Да только мы, хоринские, до чугушки не касаемся, —

разве ли когда в город с'ездить. Так, коли сегодня нельзя, — через неделю, а то и через месяц поедешь. А боровенковские крестьянское дело запустили, за чугунку держатся. Потому и пошла у них злоба.

После обеда зашел в избу Лазаря Чучин. Вид у него был встревоженный. Оказалось, что из Новгорода приехали агитаторы-меньшевики от местной «группы»; хоринский учитель, сам правый большевик, опасался, как бы они не испортили столь блестяще начатое нами дело.

Мы поспешили в избу учителя, посмотреть на меньшевиков и выяснить, насколько велика опасность. Но убедились, что страхи Чучина лишены оснований.

Один из меньшевиков — немного нескладный, бородатый человек с близорукими глазами и добродушным лицом — говорил, заикаясь, робея, и по видимому, меньше всего готовился к схватке с нами. Другой — молодой конторщик с вьющимися волосами и еле пробивающимися усиками — сам горел желанием послушать петербургских агитаторов. Опасность таилась лишь в приехавшей с ними маленькой брюнетке, в пенсне с черепажной оправой, на широкой черной ленте.

Здороваясь с нами, она пожаловалась на Фому:

— Мы приехали бы раньше, но товарищ, — конечно, неумышленно, — сообщил Группе, что с'езд начнется завтра...

Я выразил сожаление по поводу этого недоразумения и предложил в дальнейшем вести дело дружно, сообща.

Меньшевики были обезоружены. Мы сговорились о дальнейших выступлениях. Бородатый

447

меньшевик и молодой конторщик отказались от слова, брюнетка в пенсне заявила, что, прежде чем говорить, она должна познакомиться с составом собрания. Таким образом, — к большому удовольствию Чучина — все «доклады» остались за мной и Евгением.

* * *

Теперь в горнице было теснее, чем поутру, — набралось порядочно местных крестьян. Они не садились, жались вдоль стен, стояли кучкой в дверях. Возобновилось заседание с'езда. В начале заседания вышел маленький инцидент. Зайцев вновь потребовал слова и принялся выкладывать свои обиды.

— Тут много говорили, начал он, а о главном не сказали ни слова. Почему? Потому что нужны доказательства. А доказать труднее, чем за спиной клеветать на благородного человека...

Председатель прервал его, скуластый парень опять предложил решительные меры, и Зайцев умолк, бросив напоследок:

— Напрасно, господа, стараетесь вы обойти наболевший вопрос!

На очереди был второй пункт порядка дня — о форме объединения учителей. Я раз'яснил собранию, чем отличается партия от союза, и каковы взаимоотношения между объединениями одного и другого типа. Приняли решение: учредить профессиональный союз народных учителей Крестецкого уезда, а внутри союза образовать ячейку Российской Социал-Демократической Рабочей Партии. О том, к какой фракции примкнет эта ячейка,

вопроса мы не подымали, но знали, что Чучин не даст большевизма в обиду.

Перешли к вопросу о ближайших задачах и сразу согласились на том, что не время толковать об улучшении материального и профессионально-правового положения учителей, что эта задача разрешится сама собой, когда изменятся общие политические условия жизни в России.

Соколов выразил общее мнение с'езда, сказав:

— Думается мне, друзья, что две задачи стоят перед нашим союзом: первое — не на словах, а на деле объединить учителей, и при том не в одном уезде, а много шире; второе — направить наши силы и силы крестьян к народному благу.

Уже давно начались сумерки. Чучин поставил зажженную свечу на председательский стол.

Евгений горячо, с увлечением развивал свой план превращения в с е х народных учителей России в кадры революционных агитаторов и вождей в приближающемся всенародном вооруженном восстании.

Как легко было бы доказать утопичность этого плана! Как легко было бы вспомнить, что вожди восстания рекрутируются по иным признакам, чем учителя народных школ! Но собрание было под обаянием новых для него слов, и когда Евгений своим звонким голосом призывал учителей немедленно, теперь же, встать во главе крестьян и вести их на помощь изнемогающим в борьбе братьям-рабочим, на штурм самодержавия, — участникам с'езда все казалось возможным.

Сидевшая недалеко от меня учительница, указывая глазами на Евгения, шепнула соседке:

— Смотри, совсем как Михаила Архангела на иконах пишу!

Резолюция, говорившая о том, что учителя отдадут все свои силы революции и немедленно приступят к устройству по деревням крестьянских митингов для привлечения к революционной борьбе всей крестьянской массы, была принята единогласно, — даже Зайцев голосовал за нее. Затем, избрали правление союза, установили размер членских взносов; Соколов вновь огласил принятые резолюции и объявил с'езд закрытым.

Все поднялись со своих мест, обступили нас, жали нам руки, благодарили.

Чучин, радостно возбужденный, гордый успехом с'езда, обратился к нам:

— Вы не слишком устали, товарищи?

— А что?

— Хотите, сейчас же соберем все хоринское общество, митинг устроим?

— Не поздно ли будет?

— Ничего! Все равно, по случаю с'езда в деревне такой переполох, что никто спать не ложился. Часть мужиков на с'езде была, — очень им понравилось. Теперь другим рассказывают, — слышите?

Перед избой учителя, действительно, гудела толпа.

— Вот что, товарищи, возвысил голос хоринский учитель: Через четверть часа — митинг в школе. Петербургские товарищи покажут нам, как проводить крестьянские собрания. Всех членов с'езда милости просим на митинг, в качестве гостей.

Лазарь предложил:

— Значит, я побегу народ собирать?

449

— Ступай, всех как есть скликай.
— Неужто и баб звать?
— Всех зови — и баб, и мужиков, всем послушать полезно. Да смотри, чтобы старики собрались!
— Не бойся, Фома Григорьич, старики то не подгадят.

И Лазарь вышел из горницы.

Обстановка школьного митинга была для нас необычная, — как и все, что мы видели в этот день.

Стеариновая свеча на столике в переднем углу, под иконой, освещала лишь передние парты. Выступали из полумрака бородатые лица, косматые брови, узловатые, жилистые руки кирпичного цвета. Мужики сидели в тулупах, и космы их седых волос сливались, в мерцающем полусвете, с клоками овчины. Молодежь толпилась позади, за партами. Бабы и девки жались в проходе, у окон. Учителя прошли вперед и стояли кучкой сбоку, у столика.

В освещенном кругу у свечи — мы трое: Чучин, Евгений и я.

Открывая собрание, хоринский учитель сказал, указывая на нас:

— Крестьяне, вот люди, которые крепко стоят за народное дело. Из самого Петербурга они к нам приехали. Что они вам скажут, тому и верьте!

По тому, как слушала его толпа, можно было оценить, каким уважением пользовался молодой учитель в деревне.

Я посвятил свою речь последним событиям в Петербурге, — говорил об октябрьской забастовке, о Совете Рабочих Депутатов, о Кронштадтском

восстании. Слушали внимательно, но ничем не выражали одобрения...

После моей речи из группы учителей раздалось два-три хлопка, — и сразу сконфуженно затихли. Крестьяне оставались безмолвны.

Затем, Евгений говорил об учительском съезде, и снова я — уж не помню, о чем.

Крестьяне слушали все так же, — внимательно, но с видом бесстрастия. Время от времени лишь кивали головами в знак согласия. Я не знал, хорошо ли идет у нас дело, или плохо. Евгению же хотелось во что бы то ни стало «расшевелить» толпу, выбить из нее искру энтузиазма. Внешнее безразличие мужиков сердило его, и он обратился с речью к бабам. Стал говорить о недавней войне, о том, как провожали крестьянки своих сыновей — запасных, как бежали по рельсам за поездом, увозившим их на Дальний Восток. Затем перешел к причинам войны и к безымянным солдатским могилам среди сопок Манчжурии.

Из кучки женщин слышались вздохи, всхлипывания, причитания. Когда Евгений стал говорить о пропавших без вести, о возвращающихся в деревни калеках, всхлипывания перешли в заунывный бабий вой. Старики, вначале сердито цыкавшие на женщин, тоже были растроганы, — смахивали слезы с глаз, громко сопели.

Заключение речи — нужно покончить с самодержавием, чтобы царь не затеял новой войны — было встречено открытым одобрением. По всем партам прокатилось:

— Правда! Истинная правда!

Пока говорил товарищ, я успел набросать проект резолюции. Показал Чучину. Тот одобрил и, когда улеглось немного вызванное речью Евгения волнение, сказал, обращаясь к собранию:

— Вы слышали, крестьяне, что говорили наши гости. Вижу я, что вы с ними согласны. А коли так, должны вы постановить приговор обо всем, о чем сегодня вы слышали. Правильно я сказал?

— Правильно!

— Читайте резолюцию, шепнул мне учитель. Прочитав резолюцию, я сказал:

— Вот, крестьяне, решение, которое мы вам предлагаем. Если вы примете его, мы его напечатать в газетах. Тех, кто согласен с этим решением, прошу поднять руку.

Ни одна рука не поднялась, но будто волны заходили по толпе. Поворачивались друг к другу тяжелые фигуры в тулупах, прыгали по стенам и по потолку огромные тени от свечи, нестройно гудели голоса.

Но вот, с передней лавки поднялся пожилой крестьянин, — седая борода, а волосы почти черные, весь огромный, грузный, будто коряжистый дуб в лесу. Широко ступив вперед, он трижды перекрестился и опустился на колени рядом со мной, лицом к народу. Поклонился в землю, стукнув лбом о половицу, снова перекрестился и, подняв высоко руку с пальцами, сложенными для крестного знамения, произнес твердо и торжественно:

— Присягаю. Все присягнем, православные!
Громче загудела толпа. Быстрее забегали тени по стенам и на потолке. Еще два старика — Лазарь

и еще другой — вышли из-за парт и опустились на колени, держа над головой правую руку со сложенными тремя перстами. Стали креститься и земно кланяться и другие. У окон бабы и девки подняли вой.

Теперь уже все мужики стояли на коленях, у всех руки были подняты вверх.

— Присягаем, повторяли десятки голосов.

Растерявшись, я шопотом спросил Чучина:

— Зачем они так?

— А как же иначе? Вы им приказали руки поднимать. А руки у нас только и поднимают, что при присяге.

— Это недоразумение... Я не знал... А почему женщины плачут?

— Думают, что война будет.

— Но я не говорил о войне!

— Так товарищ Евгений говорил. Да и вообще... Присяга, манифест, война, — по ихнему, это одно.

— Как же быть? пуще смутился я: Они меня не поняли. Объясните им...

— Зачем? пожал плечами учитель: Так даже лучше, пускай присягают.

И он громко обратился к толпе:

— Значит, постановили мы свято, как присягу, хранить наш приговор. Будем же твердо помнить, чему присягали! А теперь кончать пора, время позднее.

Крестьяне потянулись из школы. Морозный воздух серебристой струей ворвался в приоткрытую дверь. Из учителей одни собирались теперь же, несмотря на ночную пору, возвращаться к себе,

другие сговаривались о ночевке в Хорине. Учительницы просили нас приехать помочь им вести пропаганду. Давали нам названия деревень, объясняли, как ехать. Особенно настойчиво приглашала нас учительница из школы при стекольном заводе Шатько: говорила, что завод, на котором она учительствует, имеет значение для целой волости, что почва там уже подготовлена, — хотя не так хорошо, как в Хорине, — что при небольшом усилии там многого можно добиться. Мы условились с нею, что завтра же приедем на завод.

* * *

Чучин, сговорившись с нами и частью учителей, что мы еще посидим, потолкуем у него в избе, побежал ставить самовар. Ушел куда-то и Евгений. Я задержался, переписывая резолюцию, и вышел из школы одним из последних.

Остановился на крыльце. Ночь была темная, безлунная. Тьма казалась еще гуще от блеска звезд. Не видно было ни дороги, ни изб. Лишь кое где пробивался свет сквозь щели ставен.

Вдруг кто-то схватил меня за рукав, и торпливый голос произнес над самым моим ухом:

— Погоди, барин! Дело до тебя есть.

От косяка двери отделилась неясная тень. Человек в полушубке загородил мне дорогу.

— Ты, барин, все знаешь, — так должен мне правду сказать. Христом-Богом прошу, — всю правду скажи.

— Хорошо, хорошо, товарищ, успокаивал я

151
незнакомца: Спрашивайте, что вас интересует, — я постараюсь объяснить.

— Я тебя, барин, напрямик спрашивать буду. Скажи: от кого смерть коровья?

— Как? Что вы сказали?

— От кого смерть коровья пущена? От царя или от скубентов? Правду скажи, — тебе, барин, правда известна.

Лицо незнакомца приблизилось вплотную к моему лицу, и я узнал эти беспокойные глаза под всклокоченными бровями, эти морщинистые щеки и русую мочалистую бороденку: этого мужика я видел в избе учителя во время с'езда, а в школе он все время стоял недалеко от меня, в полосе света, внимательно слушал, и вместе с другими опустился на колени, принимая присягу.

— Не понимаю, о чем вы меня спрашиваете, сказал я.

А мужичок продолжал:

— За всех крестьян прошу тебя, барин, скажи — от кого смерть коровья? Потому, — из города приезжали люди и дорогу смерти казали, — которая дорога ей открыта, а которая заказана. И заговор говорили, и поперек дороги кресты ставили, — где три креста поставлены, той дорогой смерти хода нет. Пока крестов не снимут, смерти по христианским дворам ходить, а господского скота не трогать... Теперь ты, барин, из города приехал и за народное дело стоишь. Ты и скажи всю правду: кто на нас смерть коровью пускает, — скубенты или царь?

— Ничего не понимаю! О чем вы говорите? Какие люди к вам приезжали?

152

В голове моей шевелилась мысль, не сумасшедший ли стоит передо мною.

С растущей тревогой, с мукой в голосе, мужичок говорил:

— Разные люди с города приезжали, — енералы, доктора, скубенты. А когда смерть пушали, правило ей было положено: в одном обществе больше недели ходу ей нет. Сколько за неделю коров передавит, — все ее. А какая скотина за неделю устоит, на ту власти ее уже нет. Потому, господа кресты отговаривают, и заставы снимают, и дорогу открывают, чтоб коровьей смерти в другое общество переходить...

— У вас падеж скота? догадался я.

Мужик продолжал:

— От чьей причины, никак дознаться не можем. Фому Григорьича спрашивал, — то ли он не знает, то ли на него варок положен, чтобы правды народу не открыть, а только и от него ничего не узнал. Теперь тебя спрашиваю, как перед истинным Господом Богом. Напрямик скажи: от царя смерть пущена, али от врагов русского царства?

В это время со двора напротив послышался голос Чучина:

— Скоро ль вы, товарищ? Самовар уже готов.

— Подите сюда на минутку! позвал я учителя: Тут меня спрашивают об одном деле...

Чучин подошел ко мне и, взглядевшись в лицо моего собеседника, сказал:

— Что ж ты, Егор, человека на морозе задерживаешь? Пойди ко мне в избу, там поговорим. Верно, опять о коровьей смерти спрашивал?

— Все о том же, Фома Григорьич.

— Так я же объяснял тебе: болезнь по скотине гуляет; ветеринары, доктора скотские, болезнь эту лечат, — для того и по деревням ездят. Ну, а болезнь прилипчивая, нужно, значит, так сделать, чтобы от скотины к скотине хворость не шла...

Понурия голову, плелся за нами крестьянин. Зашел в горницу, робко присел на краешек лавки, зажав шапку между колен. Беспокойно смотрел на нас, и в его глазах я читал мучительную тоску и скрытую вражду к нам, скрывающим от него правду о коровьей смерти.

* * *

Переночевали в избе у учителя, на составленных по-двое лавках. Утром открыли «военный совет», чтоб обсудить план дальнейших действий. Совещались вшестером, — меньшевики из Новгорода, мы с Евгением и Чучин. Брюнетка в пенсне заявила, что должна вернуться в город. Ее спутники — землемер Залого и конторщик Александров — решили вместе с нами заняться обездом деревень. Мы предлагали им поделить с нами уезд и условиться, где будут работать они, где мы с Евгением. Но они настаивали, что лучше начать всем вместе; ссылались на то, что у них нет опыта, что они должны присмотреться, как мы ведем дело.

Напрасно уверял я их, что у нас с Евгением опыта не больше, чем у них, что ничему они от нас не научатся, — наш вчерашний успех и принесенная крестьянами присяга ослепляли их.

В конце концов, решили начать об'езд деревень сообща и разделиться уже попозже, дня через три.

Стали соображать куда ехать, в первую очередь.

Чучин объяснил нам, что Хорино лежит почти по середине уезда: по одну сторону — помнится, к северу — волости сравнительно зажиточные, по другую сторону — к югу — деревни малоземельные и бедные. В бедных деревнях настроение крестьян революционное; в деревнях побогаче — сильна черная сотня.

Чучин предлагал нам начать об'езд с южной части уезда. Евгений возражал:

— Там учителя и без нас справятся. Наша помощь нужна, где условия всего хуже.

Я вспомнил, что мы обещали посетить стекольный завод Шатько, и спросил Чучина:

— Это где будет, — к северу отсюда или к югу?

— К северу, в самой темной волости.

— Ну, туда и поедem!

По совету Чучина, решили по дороге на завод заехать еще в две деревни.

Выехали на двух розвальнях, — нас с Евгением опять вез Лазарь, а хоринского учителя с Залогой и Александровым взялся доставить до завода один молодой крестьянин.

Поездка была приятная. Дорога шла то лесом, то открытым полем; под яркими лучами солнца снег сверкал, как серебряная парча. На душе было радостно и светло.

В ближайшую деревню, которую указал нам Чучин, — не помню ее названия, — приехали около полудня. Остановились у школьного учителя.

Он встретил нас приветливо, пригласил откусать с ним хлеба-соли, и, пока мы, с дороги, грелись у печки, побежал к старосте распорядиться собрать мужиков в школу.

Изба учителя была поменьше, чем в Хорине, но тоже хорошая, опрятная. Стены ее были сплошь заклеены лубочными картинками религиозного содержания. Тут были и изображения святых, и виды Иерусалима, и какие то монастыри, и огромный лист с собором угодников Киево-Печерской лавры, и портрет о. Иоанна Кронштадтского.

— Слишком много святости, заметил я Чучину.

Тот объяснил благодушно:

— Ничего не поделаешь. Степан на дочери попа женат, приходится ему с родней считаться...

Вернувшись в избу, учитель принялся хлопотать об обеде. На столе появился каравай хлеба, горшок с маслом, крынка молока, вскоре поспел и чай. Но жена его не показывалась из соседней горницы, — хозяйничал он один.

Мы расспрашивали Степана о настроениях крестьян. Он отвечал как то неопределенно:

— Ничего, слава Богу... Полегоньку, нельзя же все сразу... Наладится как-нибудь.

Когда пришло время отправляться в школу, где собрались мужики, он робко попросил нас:

— А нельзя ли, товарищи, полегче немного?... Мужики то здесь не то, чтобы очень того, а больше так, что называется... Не отпугнуть бы их... Главное, хоть это, конечно, предрассудки, а Бога перед ними лучше не задевать...

Мы обещали учителю, что не будем касаться религиозных вопросов, — и он стал спокойнее, будто тяжесть свалилась у него с души.

Классная комната была узкая и длинная, с дверью почти в самом углу; подле двери стояли столик и стул учителя. На ученических партах расселись мужики. Но всем мест не хватило, стояли вдоль стен и в дверях. Баб и подростков на сходку не пустили. От собрания веяло каким то холодком.

Представить нас мужикам учитель не сумел, пробормотал лишь, запинаясь:

— Вот... из Петербурга приехали... а зачем приехали, они сами скажут...

Мужики смотрели на нас с любопытством и, как мне показалось, с недоверием. Я начал с того, что деревня, вероятно, слыхала о недавних событиях в Петербурге, о забастовках, Совете Рабочих Депутатов, манифесте, но едва ли знает обо всем подробно и точно; вот, мы и приехали об'яснить крестьянам петербургские дела.

Этот приступ, как будто, заинтересовал мужиков.

Но мой рассказ о борьбе петербургского пролетариата с самодержавием не нашел пути к сердцам слушателей. По мере хода моей речи, лица мужиков становились все темнее. Наконец, один из стариков, сидевших впереди, перебил меня:

— Нет, ты скажи, с чего чугушка стала!

— Да я говорил вам, как и почему началась забастовка. Не мог рабочий народ...

Но старик вновь перебил:

— Ты то говорил, а мы слушали, да только мы, мужицким нашим умом, иначе понимаем. Потому

чугунка стала, что господа порешили крепостное право вернуть.

Заговорили все разом, и нельзя было разобрать, говорят ли все одно и то же, или спорят, препираются между собой. Я пытался продолжать речь, но мой голос тонул в увеличивавшемся с каждой минутой шуме. Выступил вперед Евгений. Начал говорить о крестьянском движении, об аграрных беспорядках в различных частях России, о том, как революционные партии решают земельный вопрос.

Его мужики слушали сочувственно, вставляя время от времени:

— Это — на нашу пользу.

Недоверие к нам рассеялось. Попросили меня рассказать о манифесте 17-го октября. Соглашались с тем, что власть должна принадлежать народу. Все чаще раздавалось:

— Это — на нашу пользу.

Я перешел к выяснению преимуществ республики перед монархией. Но тут старик, раньше спрашивавший меня о чугушке, опять перебил меня.

— А как же с царем будет?

Я ответил:

— А царя — по шапке.

— Царя то? переспросил недоверчиво старик.

— Очень просто. А если царь пойдет против народа, то и голову ему не сносить...

Над собранием будто буря пронеслась. Мужики поднялись со своих мест, крича, размахивая руками. А старик, подойдя ко мне вплотную, сказал:

— То — как будто за нас говорил, а теперь —

такое сказал, что, выходит, должны мы вас связать и по начальству представить.

— Вязи их! кричали из задних рядов: То-то они и чугунку остановили.

Евгений сделал несколько шагов вперед, толпа окружила его. Подымались вверх кулаки. Положение становилось угрожающим; я вспомнил о револьвере и, опустив руку в карман, на всякий случай, передвинул предохранитель.

Мужики считали нас арестованными. Послали за веревками. Я сделал последнюю попытку. Поднявшись на лавку, я кричал мужикам:

— Вам не нравится то, что я сказал про царя. Вязать нас хотите? Ладно же! Таких, как мы, многие тысячи. В городе, на чугунке, все так думают. Вязите нас, а выйдете вы из деревни, так в городе или на чугунке наши вас вязать будут: ты за царя стоишь? так вот же тебе! Этого вы хотите?

— Нет, отвечали из толпы: Мы шуму не хотим, а только царя ругать непозволим. Нам царьнадобен.

Я продолжал увереннее:

— Вам он надобен, а нам — нет. Выходит, возьмем топоры, ружья, да и пойдем друг на друга. Кто больше народу перебьет, того правда и будет. Этого вам надо?

— Нет, убийства мы не хотим, отвечали мужики: А только без царя народу нельзя.

— А если ваша деревня одна только за царя стоит, как тогда быть? спрашивал я.

— Весь народ за царя, гудела в ответ толпа: Не можешь ты против народа итти.

Тогда я предложил:

— Пусть же соберутся со всей России выборные люди. Как решат они, так пусть и будет.

— Это можно, подтвердили мужики.

Я принялся развивать идею Учредительного Собрания. Слушали хмуро, но не перебивали.

А когда я кончил, один из крестьян обратился к толпе:

— Чего их вязать? И впрямь опосля с забастовщиками хлопот не оберешься. Пусть их едут...

— Пускай проваливают! отвечали голоса.

Старик, повидимому, игравший роль патриарха в деревне, сказал нам:

— Ну, ребята, мир порешил отпустить вас... Уносите ноги...

Толпа расступилась, и мы вышли из школы.

На крылечке нас поджидали Лазарь и другой возница из Хорина, оба уже одетые для дороги. Лазарь, посмеиваясь, сказал хоринскому учителю:

— Что, Фома Григорьевич, видать, здешним далече до нашего общества. Ишь, дурачье! Царь им надобен! А у нас лошади уж запряжены, — можно ехать.

На него наша неудача не произвела впечатления, — «шум» вышел на сходке, — всего то и было.

Но местный учитель был совершенно подавлен. Он весь дрожал, в лице у него не было ни кровинки.

Взглянули на часы, — было около 3-х часов. Решили ехать в ближайшую деревню, там провести вечерний митинг, а на стекольный завод отправиться на следующий день.

* * *

156

Сидя втроем — с Евгением и Лазарем — в розвальнях, мы старались понять, почему это так недружелюбно приняли нас мужики.

Лазарь объяснял дело очень просто:

— Дураки они здесь, чего с них спрашивать?

Поднявшись на холм, мы увидали перед собой толпу мужиков¹⁾. Их было человек двадцать. Одни сидели на умятом снегу у дороги, другие стояли прямо на колее, загораживая путь. У всех были палки в руках, у многих топоры за поясом. Среди всех, прямо посреди дороги, стоял, опираясь на охотничье ружье, плотный мужик в крытом сукном полушубке. Он поднял руку и окликнул нас:

— Стой! Что за люди?

Мы с Евгением и хоринским учителем, вылезши из розвальней, подошли к нему.

— Здравствуйте, старики! поклонился крестьянам Чучин.

Никто не ответил на поклон. А мужик с ружьем повторил вопрос:

— Вы что за люди?

— Мы учителя, едем в вашу деревню²⁾.

— А откуда едете?

— Издалеча.

— Так. А не те ли вы люди, что по деревням ноне ездят, народ смущают?

¹⁾ Следующая ниже сцена была рассказана мною в повести «На последнем этапе», при чем в рассказе были изменены лишь имена, а вся обстановка была описана настолько точно, насколько позволяла мне память.

²⁾ Название этой деревни, как и предыдущей, совершенно выпало у меня из памяти.

— Смущать мы никого не смущаем, а дорога никому не заказана.

— Врешь, крикнул мужик с ружьем: Вам заказана... Чему вы народ учите?

Лазарь, подошедший к мужикам, ответил за нас:

— Хорошие люди добру учат...

Чучин, ободренный этой поддержкой, подхватил:

— Вот приедем мы к вам, соберем общество, вы и узнаете, чему мы учим. Правде мы народ учим, одной только правде.

Мужик с ружьем ответил сердито:

— Врешь! Правду твою пес с'ел, а в деревню вам пути нет.

Крестьяне полукругом обступили нас. Под их злобными взглядами Чучин начал теряться. Евгений, вспомнив, вероятно, как удалось ему днем исправить дело после моей речи, поспешил ему на выручку.

— Мы к вам с добром едем, сказал он: Насчет земли объясним...

Но мужик с ружьем перебил его:

— Врешь! Насчет земли мы и без вас понимаем, а ваше добро пусть с вами останется, нам оно не надобно.

И вся толпа зашумела:

— Нам вас не надобно! Уезжай, откуда приехали! Проваливай!

Угрожающе поднимаются палки. А старик с ружьем говорит внушительно и строго:

— От общества нашего постановлено, чтобы вас не слушать. Бога по-вашему нет и царя не надоть?

Чугунку остановили, на коров смерть пускаете? Поворачивай живо!

Дорога была узкая, слева и справа возвышались сугробы. Трудно было повернуть лошадей. Розвальни наши опрокинулись, вожжи запутались. Никто из мужиков не шевельнулся помочь нам.

Когда мы, наконец, повернули, Евгений укоризненно обратился к крестьянам, попрежнему стоявшим поперек дороги:

— Спасибо! Всем мы расскажем, как вы нас приняли.

— Вас бы не так еще следовало, отозвался сердитый голос из толпы: Куда теперь поедете?

— На стекольный завод, ответил Евгений: Там правду слушать не побоятся.

— Там вас давно ждут. Поезжайте!

Мы двинулись в путь. Когда отъехали довольно далеко и поднялись на холм, я взглянул назад, — мужики все еще стояли на дороге, загораживая путь, и в этой черной заставе посреди бесконечной пелены снега было что-то вызывавшее в памяти образы старых сказок...

* * *

На стекольный завод мы приехали к началу сумерок. Завод стоял над крутым обрывом. За ним теснилась куча домиков, — не то деревушка, не то рабочий поселок. Внизу, под обрывом, лежала другая деревня, с церковкой по середине, с широко раскинутой по снегу паутиной черных изгородей.

Мы поднялись на пригорок за заводом. Дорога была раз'езжена, песок и глина проступали сквозь грязный снег, лошадям было тяжело. Мы вылезли

из розвальней и пешком дошли до длинного, свежее покрашенного школьного дома. Здесь помещалась также и квартира учительницы. Окна ее были задернуты белыми занавесками. Когда мы поднялись на крыльцо, краешек одной из занавесок чуть-чуть приподнялся, — кто-то всматривался прежде чем решиться, открыть ли дверь.

Затем, в сенях послышались легкие шаги, дверь отворилась, и звонкий девичий голос окликнул нас:

— Это вы, товарищи? Входите, входите! Как это хорошо! Какое счастье!

Нас встретили в сенях две девушки, — учительница заводской школы и ее подруга, учительница из деревни, расположенной под обрывом.

Войдя в комнатку с завешенными окнами, мы заметили, что они сидели в потемках. На наш вопрос, почему они не зажигают света, учительницы объяснили нам:

— Мы, по правде, боялись немного, чтобы крестьяне не заметили.

Засветили лампу. Учительницы стали рассказывать нам о местных делах.

Еще вчера, когда они были в Хорине, кто то пустил по деревне слух, что не просто учительницы отлучились, что за ними приезжали из города забастовщики. Несколько раз мужики из нижней деревни приходили к школьному дому, справлялись у сторожа, где заводская учительница, стучали в двери, заглядывали в окна, бранились, грозились. А утром собрали сход и вызвали туда обеих учительниц. Священник громил жидов и крамольников, призывал стоять за царя. Ста-

роста потребовал от учительниц ответа, где пропадали они целый день накануне. Учительницы показали, что были у знакомого учителя. Посыпались новые вопросы:

— У какого учителя? Кто еще был там? О чем говорили?

Учительницы, догадываясь, что их возница успел рассказать о с'езде, признались, что были в Хорине, куда с'ехалось много учителей с уезда. А на вопрос, о чем говорили, отвечали уклончиво — толковали, мол, о своих делах. Относительно вечернего митинга объяснили, что учителя читали собравшимся в школе крестьянам манифест насчет земли.

Священник все допытывался:

— А о Боге что говорили? А как святую церковь хулили?

Староста грубо толкнул учительницу нижней школы и схватил ее за горло, требуя, чтобы она сказала всю правду. Раздавались предложения спалить школу. Затем, учительниц отпустили, сход продолжался без них.

Обе учительницы были крайне перепуганы. Но наш приезд ободрил их.

— Как хорошо, что вы приехали, повторяли они: Вы мужикам объясните все, покажете им, что о. Александр их обманывает. Вы все исправите...

Увы! Мы уже не были столь уверены в чудодейственной силе наших слов. Но некогда было предаваться сомнениям, нужно было действовать.

Мы предложили послать сторожа в нижнюю деревню сказать крестьянам, что на стекольный завод приехали те самые люди, которые говорили

на учительском с'езде в Хорине; что эти люди приглашают всех мужиков на собрание в заводскую школу, потолковать о манифесте и о земле; а особенно просят, мол, пожаловать о. Александра и старосту. Заводскую школу мы выбрали для собрания с тем расчетом, чтобы иметь перед собой не только крестьян, но и заводских рабочих, которые могли бы, в случае нужды, поддержать нас.

Наш план показался учительницам превосходным. И пока сторож спускался в деревню, они весело занялись приготовлением чая и ужина. Смеялись, заранее торжествуя нашу победу над о. Александром.

Сторож вернулся и передал нам, что мужики согласны притти в школу, а батюшка не согласен. Он передал и ответ священника:

— Чего я к ним пойду? Пускай они ко мне придут, в церковь.

Нечего делать, от дискуссии с попом приходилось отказаться.

В школу собралось человек сто мужиков. В углу особняком держалась кучка мастеровых, одетых по городскому.

Мы начали с вопроса о земле, — и то, что мы говорили, повидимому, понравилось мужикам. Постепенно враждебная настороженность, с которой они нас встретили, исчезала. Раздавались даже отдельные возгласы сочувствия.

Затем, мы говорили о манифесте, о Государственной Думе, об Учредительном Собрании. Казалось, крестьяне слушают с возрастающим интересом. Желая вызвать их на беседу, я спросил.

— Может быть, не все, что мы говорили, было

159

понятно? Спрашивайте! Мы рады будем ответить, об'яснить...

Привемистый, бородатый мужик средних лет сердито ответил:

— Чего вас спрашивать? Разве правду от вас узнаешь? Народ обманывать — вот ваше дело.

И он повернулся к мужикам.

— Православные! Будет их слушать, идем к себе, пока они нас под присягу новому царю не подвели!

Толпа зашевелилась. Раздались крики:

— Идем к себе! Чего дураков слушать? Разве они правду скажут?

Потянулись в двери. В школе осталось человек сорок, — мастеровые да десяток деревенских парней, — ни одной сивой бороды...

Один из мастеровых сказал нам:

— Вы, пожалуйста, продолжайте.

Решили продолжать митинг. Теперь говорили о социализме.

Вдруг раздался сильный удар в ставню, за ним другой, третий. Молодой, высокого роста, мастеровой, взглядевшись сквозь щель ставни в темноту ночи, громко сказал:

— Ишь, черти! Нужно двери заложить.

Он вышел в сени; слышно было, как возился он с засовами. И не успел он вернуться, как удары посыпались градом и по ставням, и в двери. Разлетелось стекло в окне, пахнуло холодом, лампа начала мигать и тухнуть.

Мастеровой снова взглядывался в темноту то через одно, то через другое окно. Затем, сказал:

— Поленьями лунят. А немного их здесь, двадцати человек не наберется. Ежели в ножи пойти, в миг уgomоним...

Человек пять из заводских обступили его, совещались о плане вылазки. Мы просили их не обращать внимания на мужиков и продолжать собрание.

Но вести беседу в избе, со всех сторон бомбардируемой поленьями, было не так легко. Удары в ставни раздавались все чаще, все сильнее; трещали доски, дребезжали стекла.

Высокий парень крикнул:

— А ну, ребята, в ножи!

Вытащив из-за голенища ножик вершков в шесть, он бросился к двери, за ним еще несколько человек. С гиком выскочили на крыльцо, — но до кровопролития дело не дошло: мужики обратились в бегство.

Мастеровые вернулись в школу, торжествующие, гордые успехом. Иные из них вертели в руках ножи и, видимо, досадовали, что не удалось подраться.

Продолжать беседу было невозможно, и мы поспешили закрыть собрание. Рабочие, расходясь, благодарили нас и советовали учительницам не спускаться в нижнюю деревню и держаться поближе к заводу.

* * *

После митинга мы перешли на половину учительницы.

160

Я еле держался на ногах от усталости. Голова шла кругом от множества впечатлений. Было досадно на себя.

Но учительницы были довольны, — им казалось, что наши речи запали в души крестьян.

— Мужики будут обдумывать то, что слышали в школе, объясняли они нам: будут между собой толковать, и убедятся, что все это правда. Ничего, что они с митинга ушли, — это староста их сбил, потому что испугался... Теперь все пойдет хорошо.

Но все же обе девушки решили на два-три дня уехать из деревни и переждать где нибудь в более спокойном месте, пока все уляжется. Чучин предложил им перебраться к нему, в Хорино.

Перед отъездом учительницы приготовили нам чай.

В это время кто то осторожно постучал в двери. Учительница вышла в сени, сняла засов и отступила в испуге. Через порог переступил мужик средних лет, высокий, красивый, с черными волосами и широкой бородой.

Учительница из нижней деревни шепнула мне:

— Это Герасим, брат старосты, первый черносо-
тенец...

Мужик степенно перекрестился, поклонился всем нам и приветливо спросил:

— Чаек попиваете?

— Да.

— Разрешите присесть?

— Садитесь!

Сев, Герасим обратился ко мне и к Евгению:

— Я к вашей милости. Пришел поблагодарить вас, что не гнушаетесь нашим братом. Спасибо

вам за науку, — вижу теперь, что ваша правда, что и впрямь за народ вы стоите. От всего общества вам спасибо.

Встал, низко, в пояс, поклонился нам и обернулся к учительницам:

— Вы, барышни, на нас не сердитесь, что утром на сходе мы пошумели. Известно, мужик — дурак. Откуда нам правду знать? А вот, как ученые люди нам рассказали, теперь мы понимаем и прощенья просим.

Он поклонился вновь. Учительница, зардевшись от удовольствия, сказала ему:

— Это ничего, Герасим. Мало ли что случается... Выпейте с нами чаю.

Мужик осторожно взял стакан и, дунув на блюдечко, начал разговор. Посетовал на темноту крестьян и на то, что газетки в деревне никак не достать. Справился, давно ли мы из Петербурга, и верно ли, что скоро новая будет присяга. Затем спросил:

— Заночуете вы здесь или думаете домой возвращаться?

Услышав, что мы собираемся в обратный путь, заметил:

— Дорога то подле завода больно плоха, — один песок. Вы горой или низом сюда ехали?

Лазарь ответил, что ехали мы горой. Герасим покачал головой:

— Ежели низом, мимо риги, ехать, лошадям много легче, да и на Хорино низом прямая дорога.

— Низом мы и поедем, подтвердил Лазарь. Посидев с четверть часа, Герасим поднялся, еще
21*

раз поблагодарил нас за науку, поклонился и вышел.

Учительницы были в восторге, подумывали даже отказаться от поездки в Хорино, но, в конце концов, решили ехать с нами.

Через поселок мы шли пешком, пустив вперед порожние розвальни.

Чучин с учительницами и новгородские товарищи шли тропинкой справа от дороги, мы с Евгением шагали прямо по колее. Вдруг, шагах в двадцати перед нами, вынырнули из темноты две странные фигуры, — не то мужики, не то бабы. Вглядевшись, мы разобрали широкую поповскую шубу. Евгений, решив, что это о. Александр с дяконом, предложил мне подойти к ним и пристыдить их за то, что они натравливают мужиков против учительниц. Но странные фигуры внезапно исчезли.

Теперь дорога шла по опушке леса. Справа стеной тянулся ельник, слева, над косогором, шли плетни и изредка вырисовывались поверх них крыши крестьянских изб. Одна изба, больше других, без всякой изгороди, без двора, стояла впереди других, над самой дорогой.

Когда мы поровнялись с ней, из темноты раздался крик:

— Стой!

Из за избы выскочили на дорогу люди с кольями.

Мы с Евгением выхватили револьверы. Я успел крикнуть товарищам:

— К саням! Садитесь все!

Люди с кольями надвигались на нас. Евгений выстрелил. Толпа отхлынула. Но с косогора по-

летели в нас палки, куски льда, — может быть, бросали и камни.

— Стреляйте! шепнул мне Евгений.

Я оглянулся назад. Шагах в тридцати от нас товарищи теснились у розвальней. Такое же расстояние отделяло нас от нападавших...

Я не решился стрелять, но не мог объяснить Евгению, что мешает мне нажать собачку, и только повторил:

— К саням!

Розвальни двинулись: Лазарь и другой возница оказались оба в передних санях; во вторых же розвальнях некому было сдержать лошадь, так как попавшие туда учительницы, перепуганные выстрелом, бросили вожжи и с головой зарылись в солому. На наше счастье нападавшие тоже были напуганы выстрелом и, видя, что мы с Евгением вооружены, медлили.

Мы успели добежать до саней. Толпа бросилась вслед за нами. Кричали:

— Стой! Отдай револьвер! Держи их!

Опять летели в нас колья, куски льда.

Евгений схватил вожжи.

Я опустил на задок саней с браунингом наготове. Но расстояние между нами и нападавшими увеличивалось с каждой минутой. Сплоченная вначале толпа наших преследователей теперь растянулась, распалась на отдельные группы. Почти вплотную за санями бежало лишь двое, но они уже бросили свои колья, промахнулись оба, и были теперь безоружны и безопасны для нас.

Стрелять не пришлось. Погоня прекратилась. Лишь вслед нам неслись крики, ругательства, проклятья.

От'ехав верст пять от завода, мы остановились, дали отдохнуть лошадям, расположились поудобнее, и затем продолжали путь. Ехали лесной дорогой; в шорохе ветвей нам слышался топот погони, крики, угрозы.

Уже брезжил рассвет, когда мы добрались до Хорина.

* * *

Спать эту ночь нам пришлось недолго. Поутру стали соображать, что делать дальше.

Ясно было, что северные волости уезда настолько взбудоражены, что в данный момент соби-
рать там крестьянские сходы невозможно. Нужно выждать пока уляжется тревога, и дать время учи-
телям хоть немного подготовить почву.

Мы решили проехать в ближайший город, Чудово, связаться с местными рабочими, захва-
тить из них человек 5—6, знакомых с местными условиями и способных вести пропаганду среди крестьян, и после этого вернуться в уезд.

Попрощавшись с Чучиным и с учительницами, отправились на ст. Боровенку. Вместе с нами по-
ехали Александров и Залого. На этот раз возницей села в розвальни баба, одетая по мужски, — в ту-
лупе, в валенках, в мохнатой шапке.

— Мужики все в лес ушли, объяснила она нам: Дележка сегодня у них.

Опять прыгают, качаются розвальни. Кругом картина невозмутимого покоя, мирного зимнего

сна. А на душе тяжело. В одной деревне нам при-
сягали, в другой — нас чуть не связали, в третью —
не пустили вовсе, а в заключение — это ночное на-
падение, выстрел, погоня...

Баба-возница повернулась к нам:

— Неладно мы, это, на Боровенку едем. До
другой станции верней было бы... На Боровенке
мужики больно злые.

— Ничего, успокаиваем мы ее: Какое нам до
них дело?

Под'езжаем к Боровенке. При в'езде в деревню,
против кузницы, толпится народ, человек тридцать
мужиков. При нашем приближении кто то крикнул:

— Гляди, едут!

Сошли толпой на дорогу позади наших саней,
и идут следом за нами к вокзалу.

Дорога шла в гору, мы подвигались вперед
медленно, шагом. Я обернулся, чтобы посмотреть,
что за люди идут за нами, много ли их, и каковы
их намерения. Из следовавшей за нами толпы по-
слышался сердитый окрик:

— Чаво глядишь?

На площади перед вокзалом опять толпа, —
мужики, бабы, ребятишки. Расступились, про-
пустили нас, и стеной сомкнулись позади.

Чувствуя, что дело плохо, я тихо сказал крестьян-
ке, привезшей нас из Хорина:

— Ты, хозяйшкa, здесь не задерживайся. По-
езжай домой, скажи Фоме Григорьичу...

Она поняла, стала спешно поворачивать сани.
Мы вошли в вокзал. Без 20 минут 2 часа... А поезд
на Чудово приходит в 2 часа 10 минут... Значит,
полчаса ждать...

463

Подошли к кассе, взяли билеты. У кассы стояли какие то хорошо одетые люди, с виду не крестьяне, и пристально следили за каждым нашим движением. Делая вид, будто мы ничего не замечаем, мы вошли в зал III-го класса.

Большая квадратная комната. Три высоких окна на платформу. Под окнами — длинный досчатый диван, перед ним — крашенный стол. Справа — выход на платформу с стеклянной дверью фонарем. Слева — маленькая приоткрытая дверь в телеграфную, узкую комнатку с одним окном, выходящим на платформу. В глубине, против той двери, в которую мы вошли, другая дверь поменьше с надписью: «Для пассажиров I и II класса».

С платформы, сквозь окна, заглядывали люди, частью в меховых шапках, частью в картузах. Кучка мужиков вошла в зал следом за нами и встала в дверях.

Не могло быть сомнений, — мы попали в западню. Я предложил товарищам:

— Держаться вместе, вот в этом углу. Постараемся выиграть время. В случае нападения — стреляем. Затем — в телеграфную. Там продержимся до прихода поезда...

Встали в пространстве между столом и дверью телеграфной комнаты, — мы с Евгением впереди, новгородские товарищи за нами, в самом углу.

В зал медленно вливалась толпа. Вперед выступили трое, в длинных крытых сукном шубах. Залого шепнул мне:

— Я их знаю, — здешние купцы.

Подошли к нам вплотную, и один из них сурово спросил нас:

— Вы что за люди?

— Учителя, ответил я.

— Откуда?

— Из Чудова.

— Чему народ учите?

— Да вы что за начальство, чтобы спрашивать? повысил я голос: Чему нужно, тому и учим.

— Тому учите, что Бога нет и царя не надо? крикнул купец: Знаем мы ваше ученье!

И повернувшись к толпе, уже на три четверти наполнившей зал, он указал на нас:

— Православные! Вот они — забастовщики.

В это время в передних рядах толпы я заметил станционного жандарма. Явилась мысль «использовать» его, чтобы выиграть время до прихода поезда, и я обратился к нему:

— Г. жандарм! Тут какие то люди пристают... Прошу вас с о с т а в и т ь п р о т о к о л.

— О чем протокол? удивился жандарм: Люди эти достаточно нам известные. Они спрашивают, а вы отвечайте!

— Нет, это не по закону, возразил я: По закону, я частным лицам отвечать не должен, а вам буду отвечать лишь в том случае, если это для протокола, по всем правилам...

Часовая стрелка указывала 2 часа, оставалось 10 минут до прихода поезда.

Жандарм сказал:

— Вы здесь народ бунтуете, а я буду вам протоколы писать? Пускай народ вас и судит.

Купец крикнул:

— Бей их, православные!

Толпа двинулась на нас. Я вынул из кармана

браунинг с взведенным предохранителем и готов был стрелять, но медлил, — все еще хотел выиграть время. Евгений, тоже с револьвером в руке, стоял слева от меня. Он что то сказал мне, но за возраставшим с минуты на минуту шумом я не расслышал его слов...

И вдруг я заметил, что Евгения уже нет рядом со мной. Оттолкнув стол от досчатого дивана, он бросился в образовавшийся проход к выходной двери на платформу, — повидимому, в уверенности, что и мы следуем за ним. Два-три человека, стоявшие на его пути, шарахнулись в сторону от револьвера. Но сидевшей подле двери сторож в овчине и форменной железнодорожной фуражке с размаху ударил его по голове поленом, и Евгений упал.

В это время и оба новгородские товарища — не знаю почему — сделали попытку спрятаться от толпы и бросились вдоль стены под диван. Я остался один в углу. Сделал шаг назад, так что чувствовал одним плечом косяк двери в телеграфную, другим — стену.

Над теснившей меня толпой подымались кулаки, палки. А я все колебался, стрелять или не стрелять. Я видел, что Евгений лежит без движения на полу, и не знал, ранен ли он, или убит, не знал также, где другие два товарища. Чувствовал, что разогнать толпу выстрелами не удастся, что, на лучший конец, я смогу вырваться отсюда один, оставив моих спутников в руках мужиков. После минуты колебания, я передвинул предохранитель браунинга и опустил его в карман. Это было мое последнее сознательное движение. В этот момент я получил сильный удар по голове, какая то сила рванула

меня вперед. Я почувствовал соленый вкус во рту, в глазах потемнело. Я лишился сознания.

* * *

Когда я очнулся, я смутно различил вокруг себя серые и бурые валенки, и понял, что лежу на полу.

Поднес руку к глазам, — веки слипались от крови, кровью было залито лицо. Но я не чувствовал, чтобы был ранен. Медленно приподнялся, затем встал.

Два мужика схватили меня за плечи. Один из них крикнул:

— А ну, показывай, что у тебя в карманах.

Вытащили револьвер, перчатки, портмоне, записную книжку, часы. Каждый предмет рассматривали с любопытством, рвали из рук друг у друга, — и потому сжимавшее меня живое кольцо становилось более широким. Заметив это, я сам достал из жилетного кармана запасную обойму браунинга и роздал патроны стоявшим ближе мужикам. В это время я увидел Евгения. Он лежал ничком на полу в одном белье. Его длинные светлые волосы были залиты кровью, и мне показалось, что кровь стояла лужей на полу, вокруг его головы. Я сделал шаг к нему, но меня снова схватили, сорвали с меня пальто, пиджак, сапоги; стали рвать кашне, и так крепко затащили его на шею, что у меня потемнело в глазах. Напрасно, подсовывая пальцы под скрутившийся в жгут платок, я пытался освободить горло. Но вот шелк разорвался, — и я почувствовал, что могу дышать.

В это время под'ехал поезд. Мелькали люди в окнах. Раздавались звонки, свистки. Толпа волновалась, раздавались крики:

— Не отдадим их! Своим судом кончим.

Но никто из проезжих не вошел в станционное здание. Поезд тронулся, платформа опустела. Кто-то толкнул меня. Я упал на пол около Евгения, услышал его слабый стон и понял, что он еще жив.

В толпе произошло движение. Был слышен взволнованный голос:

— Что делаете, братие? Грех великий... Опомнитесь!

К нам подошел священник высокого роста, молодой, в длинной шубе¹⁾. Сжимая наперсный крест в руке, он пытался образумить толпу.

Ему отвечали:

— Ты, батюшка, свое дело знай, а в чужие дела не мешайся.

— Убить их, — греха нет.

Священник не сдавался.

— Неправда, братие! Человека убить всегда грех. Отпустите их с миром! А если они преступники, — отправьте их в город, пусть суд разберет их дело.

— Не отпустим! ревела толпа: Они против Бога идут, царя ругают, церковь спалили, убить их надо.

— Здесь их и убьем!

И, уже наступая на священника, кричали:

¹⁾ Впоследствии я узнал его имя. Это был о. Николай Кульман, брат петербургского профессора словесности.

— Уходи, батюшка! Зачем пришел? Не твое здесь место.

Кто-то крикнул:

— Братцы, а ведь главный злодей то не здесь! Первая причина — это хоринский учитель.

Другие подхватили:

— За хоринским учителем! Тащи его сюда. Всех вместе кончать будем.

Часть толпы хлынула в двери, увлекая за собой и священника. Но большая часть осталась.

Евгений очнулся, узнал меня и, с трудом шевеля разбитыми губами, спросил бессмысленно:

— Вы живы?

Я сделал ему знак молчать. Он опустил голову ко мне на колени и снова закрыл глаза.

Мужики, обступив нас, спорили о том, что делать с нами.

Степенного вида пожилой крестьянин говорил:

— Чего тут? Приведут, этта, хоринского учителя, всех их тут и притюкнем, — хоть обухом, хоть чем...

Другой, маленький, суетливый, визгливо кричал:

— Братцы, а я так думаю, керосином облить их и сжечь, как они церковь спалили.

Но больше всех ярости проявлял человек в синей сибирке, с белокурой бородой во всю грудь, с голубыми глазами. Он все норовил ударить то Евгения, то меня и настаивал:

— Беспременно кишки им вымотать надоть за злодеяства за ихние.

Он наклонился ко мне и, смотря мне прямо в лицо, трясая меня за плечо, с ненавистью кричал:

— Ты это выдумал, чтобы царя не было? Так не бывать же по твоему! Гляди-ка сюда!

Вытащив из кожаного кошелька серебряный рубль, он поднес его к самому моему носу:

— Это что? Рупь! А почему он рупь? Потому что царская особа на ём. А как ты царя сгонишь, а на место его мужика в лаптях посадишь, что тогда будет? Не рупь, а вроде щепки. Значит, я всю жизнь жилы себе рвал, деньги копил, а ты пришел, — раз плюнул, и у меня уж не деньги, а щепки. Этого хочешь?

И он кричал иступленно:

— Братцы, кишки им вымотать надоть.

Снова движение в толпе. В комнату вошли новые люди. С пола я их не видел. Мужики встретили их поклонами.

— Здравствуй, ваше благородие.

К нам приблизился полный человек с длинными рыжими усами, в серой шинели, в фуражке с кокардой. Посмотрев на нас, строго, по начальнически кинул толпе:

— Что за беспорядок? Кто приказал? Жандарм! Взять этих людей и отправить их в город. Представить в Губернское Жандармское Управление.

— Никак нет, ваше благородие, отвечали мужики: Мы их никому не дадим. Своим судом их прикончим.

— Как? Что? затопал ногами человек с кокардой: Своим судом? Убийство затеяли? Да еще в полосе отчуждения, в присутственном месте? При становом приставе! Да я вас! Да вы у меня...

Жандарм, проводи их до моих саней, я их с собой возьму.

Я приподнялся с пола, приподнял Евгения, искал глазами новгородских товарищей, собираясь идти за становым.

Но толпа не пустила нас. Раздавались крики:

— А ты то сам, ваше благородие, где был, когда мы их ловили? В карты играл?

— Не ты их словил, не ты и судить их будешь.

— Чего ребята смотреть на него? Видать, он ихнюю руку держит.

Становой смутился и сбавил тону.

— Полно, ребята, уговаривал он мужиков: Вы их поймали, — вам за это благодарность будет. И что вы их своим судом поучили, — тоже хорошо. А теперь должен я, по закону, в тюрьму их доставить, чтоб они от вас, не дай Бог, не убежали.

— Небось, не убегут! отвечали крестьяне: Ты других лучше лови.

Стали говорить о том, что по всему уезду раз'езжают забастовщики и крамольники; что главное гнездо их в соседнем имении, — называли какую то баронессу с нерусской фамилией, говорили, что к ней поутру приехали неизвестные люди на четырех санях.

— Ты бы их ловил! кричали мужики становому: А тех, что мы поймали, не тронь.

В конце концов, становой заявил:

— Ну, ребята, делайте, как знаете, — сами же отвечать будете.

И взяв с собой человек десять мужиков, как

167

понятых, он отправился в соседнее имение¹⁾. Мы остались в руках толпы. Снова посыпались удары. Нас с Евгением опять бросили на землю.

Подошел жандарм. Сел на досчатый диван подле нас и говорил крестьянам:

— Не спешите, ребята! Порядок надобен. Вот, уже приведут того, главного, тогда и кончай всех враз. А без правил нельзя.

Помолчав немного, он прибавил с укоризной:

— Ну, и дураки — мужики. Бить не умеют. Искровянили зря. А у нас есть средства, — раз, другой ударишь, и следов не видать, а бесприменно человек помрет. Коли сразу не помрет, так через день али через неделю, — а только живой не будет. Есть такие средства. Все знать нужно.

Кровь мне заливала глаза; повидимому, я был ранен в голову, но не чувствовал боли. А Евгений то приходил в себя, то снова впадал в забытие, произносил какие то невнятные слова, и я не знал, бредит ли он, или о чем то спрашивает меня.

Толпа поредела. В комнате оставалось человек шестьдесят. Подошел поезд. Шевельнулась надежда, — может быть, выручат. Но, подняв голову, я увидел в окно, что у платформы стоят товарные вагоны.

¹⁾ Я чувствую, что описываемое заступничество священника и становой за пойманных мужиками агитаторов может показаться тенденциозной выдумкой дурного вкуса. И мне было бы нетрудно опустить в моем рассказе эту подробность. Но, поставив своей задачей рассказать возможно точно о своей поездке в Новгородскую губернию, я не считаю себя в праве прикрашивать то, что было, исключая из рассказа те или иные черты.

Кажется, уже начинались сумерки, когда во входных дверях послышался торопливый голос:

— Где раненные? Мне передали, что есть пострадавшие, нуждающиеся в медицинской помощи...

Вперед протиснулся молодой человек в пальто, в сопровождении другого человека в белом фартуке поверх полубубка.

Молодой человек взял Евгения за руку, пощупал пульс, покачал головой и твердо сказал мужикам:

— Здесь дышать нечем, форточку отворите!

Два человека подошли к окну исполнить приказание.

Врач продолжал распоряжаться:

— Отойдите подальше! Воды принесите. А ты, дедушка, сбегай, — в саних у меня ящичек жестяной с инструментом... Да не курить здесь! Кто хочет курить, выходи во двор. Пособите раненных поднять.

И странное дело, — мужики исполняли распоряжения.

Евгения положили на диван. Я сел рядом с ним. На другой диван сели Александров и Залого, — повидимому, они не были ранены. Врач омыл холодной водой лицо Евгению и мне. У Евгения была глубокая рана в области темени. У меня в нескольких местах были рассечены черепные покровы, но кость не была задета.

Врач готовился перевязать рану Евгения. Достал ножницы, чтобы остричь волосы около раны, засучил рукава, вымыл руки. Но настроение мужиков уже изменилось. Из толпы слышались иронические замечания:

— Ишь, господа! Сидят, а ты стой перед ними. И курить не могли.

— Дохтур то, видать, из таких же будет, — то-то старается...

— Ребята, а дохтура насчет Бога и царя поспросать бы!

Доктор начал теряться. От его самоуверенности не осталось следа. Руки его тряслись.

Еще больше перепугался сопровождавший его фельдшер. Он дрожал так, что расплескал воду, приготовленную для перевязки, и повторял, еле шевеля губами:

— Уезжать надо... Пропадем здесь...

Наклонившись ко мне, врач прошептал:

— Видите? Что я могу? Я должен уехать.

Я сказал ему:

— Одного, тяжело раненого, вы можете увести с собой... Они пропустят...

Врач, проводя мокрой ватой по лицу Евгения, отвечал:

— Не пропустят... Никого не пропустят... Простите!.. У меня семья...

— Попробуйте! настаивал я.

— Ничего не могу, шептал врач: Простите, ради Бога...

Из толпы посмеивались:

— А дохтур то долго возится. Нашего брата так не лечат. Мужика, — раз-два и готово. А господам внимание...

Врач уронил на пол вату. Еще раз шепнул мне:

— Простите, ради Бога!..

И быстро вышел. Фельдшер за ним. Нас сбросили с дивана на пол и снова принялись бить. В

это время, очнувшись от обморока, Евгений спросил меня:

— Нас убьют.?

Я ответил:

— Не знаю... Кажется...

В глубине души я считал наше положение безнадёжным. Но не чувствовал ни боли, ни унижения, ни ненависти против темных людей, в руках которых оказались наши головы. Была огромная потребность видеть и слышать все, все запечатлеть в сознании, — именно потому и теперь я с такой отчетливостью, до мельчайших подробностей помню эту сцену.

Помню старушку, наклонившуюся к Евгению. Она с жалостью вглядывалась в его лицо. Затем спросила его:

— А мать у тебя есть?

Слон раненого она приняла за утвердительный ответ и прослезилась:

— Молоденький то какой, Как мой внучек... Мать то евоная жива, а ему умирать выходит... Уж кончайте его сразу, ребята, не мучьте...

Приходили в комнату новые люди. Им обьяняли:

— Церковь они спалили. Теперь их народ судить будет. Вот только главного ихнего приведут...

Тому, что мы спалили церковь, мужики твердо верили. Знали уже, что это была церковь св. Николая Чудотворца. Передавали подробности: как я тыкал папироской в икону святителя...

Толпа росла. Опять набралось человек до ста.

К нам протискался мужичок в плохоньком армяке, опоясанном пестрым платком. Нагнулся, заглянул мне в лицо, взглянул на Евгения и радостно крикнул.

— Братцы! А я этих людей знаю, ей Богу, знаю обоих.

Все обернулись к нему. Мужичок возбужденно рассказывал:

— Я их позавчера в хоринской школе видал. В деревне то я проездом был, а мужики все в школу шли. Сказывали, манифест читать. Ну, и я пошел. Учителей то одних там было сто человек, а вот эти два говорили. Рыжий то, бородатый говорил, и молоденький тоже говорил. Ей-Богу.

— О чем говорили?

— До слова все я слышал. Сперва бородатый говорил, хорошо так говорил, складно: слово скажет, и рукой пристукнет. А потом молодой говорил: слово скажет, и рукой в сторону отведет. Оба говорили.

— Про Бога что говорили? спрашивали кругом.

А мужичок твердил свое:

— Рыжий то рукой во так, сверху вниз, а молоденький все в бок да в бок, — вот этак.

— Да что они говорили?

Мужичок пожал плечами:

— Ничего с ихних речей я не понял. Разве их разберешь? А только хорошо говорили, и рукой все вот так, да вот этак.

Кто то из толпы сказал:

— Убить их надо!

Мужичок поддержал:

— Беспременно убить надоть.

* * *

Я упоминал уже, что ощущал потребность видеть и запечатлеть в памяти все подробности происходившего вокруг нас. Но в самом начале я потерял очки. Мне приходилось поэтому делать усилия, напрягать зрение, чтобы видеть.

Толпа вокруг нас была такая же, как в хоринской школе. Валенки, тулупы, меховые шапки. Спереди старики с сивыми бородами; в лицах ничего зверского, жестокого. Спорят, готовясь к убийству, так же, как стали бы спорить при дележке леса или при обсуждении другого будничного, житейского дела.

Но почему то мужиков стесняло и раздражало, что я пристально смотрю на них.

Уже несколько раз до меня долетало:

— Ишь, глядит!

Прямо против меня стоял старик невысокого роста, с седой бородой клинушком, в остроконечной шапке, в светлом тулупе, стянутом красным поясом. Вид у него был миролюбивый, добродушный, — он был похож на рождественского деда.

Старик долго глядел на меня. Потом, обернувшись к толпе, сказал:

— Братцы, а надо б ему глаза выколоть. Чего мы хотим? Хотим, чтоб он нам вредить не мог. Так когда мы ему глаза выколем, вреда от него и не будет.

— Правильно, поддерживали его другие.
Старик тронул меня за плечо:
— Слышь, что народ говорит? Зла мы тебе не хотим, а только ты нам не вреди. Выколем мы тебе глаза, да и отпустим на все четыре стороны. Вот, ты и пойдешь....

И старик, зажмурив глаза, изобразил, как пойду я, слепой, ощупывая перед собой дорогу.

Кто то сказал:

— Глаза то выколоть можно, а опосля, вместе с другими, притюкнем.

Но старик возражал.

Начался спор.

Затем спор стихнул.

Человек в железнодорожной форме принес полено и топор. Откололи от полена широкую щепку, раскололи ее на несколько кусков, по слою дерева, и принялись заострять концы.

Старик сказал мне:

— Ну, прощайся со светом Божиим.

Он подошел ко мне сзади, зажал мою голову между колен и принялся нацеливаться в глаз заостренной щепкой.

Повидимому, я не закрыл глаз, и это стесняло его. Я почувствовал боль ниже правой брови, — но что-то удержало руку мужика. Кровь залила лицо, но я чувствовал, что глаз не поврежден¹⁾.

Старик выпустил мою голову и сказал:

— Неспособно оно, братцы, щепкой. Может, ножичек есть у кого?

Вперед высунулся длинный, худощавый парень.

¹⁾ Много лет оставался у меня шрам над глазом.

170

более похожий на городского хулигана, чем на крестьянина¹⁾.

— Во ножик! крикнул он.

Вытащил из-за сапога складной нож с темной костяной ручкой и щелкнул им. В нескольких вершках от своего лица я увидел зазубренное, заржавленное лезвие.

Старик протянул руку к ножу:

— Давай сюда!

Парень отдернул нож:

— Чего «давай»? Я сам.

Снова завязался спор. Раздавались крики:

— Отдай нож! Вперед старших не суйся!

— Пусти парня, его нож...

В разгар спора послышался шум со двора.

Кто-то крикнул:

— Ведут! Хоринского учителя привели!

Мужики отхлынули от нас, забыв на время о ноже и о моих глазах.

* * *

В комнату ввалилась новая толпа. Впереди Чучин, обе учительницы со стекольного завода и становой²⁾. За ними мужики.

¹⁾ Позже я узнал, что это был ученик местного кузнеца.

²⁾ Становой сперва поехал с понятиями в имение баронессы. Не найдя там крамольников, он, поспешил в Хорино, чтобы предупредить убийство учителя. С этой же целью присоединился он к толпе мужиков, арестовавшей Чучина и сопровождавшей его до Боровенки. И еще одна подробность. Хоринские мужики не выдали бы любимого учителя. Но, как я упоминал уже, в тот день все хоринцы были в дальнем лесу, в деревне оставались лишь бабы, заступиться за учителя было некому. Когда мужики вернулись из лесу и узнали о случившемся, первой их мыслью было запрягать лошадей и ехать с топорами и кольями в Боровенку. Потом побоялись, так как пошел слух, что за боровенковских стоят соседние деревни.

17-1

Кричали громче, чем до сих пор, и как то по-иному: теперь в толпе было много пьяных.

Становой крикнул мужикам:

— Вот, ребята, на вокзал их доставили, — теперь по домам.

Ему отвечали насмешливые голоса:

— Ан нет! Что мы батюшке обещались? Обещались, что в деревне их не тронем и в дороге не тронем, а как на станцию доставим, тут всех и прикончим¹⁾.

Становой пытался спорить. Но мужики по-пьяному напирали на него, и он даже получил не сколько тумаков. Тогда он втолкнул арестованных в дверь с надписью «для пассажиров I и II класса», сам вошел вслед за ними и заперся изнутри.

Ярость толпы усилилась. Колотили кулаками в дверь, орали:

— Подавай его сюда!

— Ломай дверь!

— Со двора, с окна заходи!

Теперь били в дверь поленьями. Становой что то кричал из за двери, но нельзя было ни слова разобрать из его выкриков.

Затем послышался звон стекол, яростный рев снаружи. Мужики, ломавшие дверь, притихли,

¹⁾ В действительности, о. Николай Кульман взял с крестьян обещание, что они доставят учителя на вокзал без всяких насилий. Мужики свое обещание исполнили, но затем сообразили, что это обещание не предусматривало, что будут они дальше делать с учителем. А тут кто то пустил слух, будто священник приказал по доставлении учителя на станцию убить его. Не знаю, верила ли толпа этому слуху, или мужики лишь делали вид, будто верят ему, но на данное священнику обещание ссылались настойчиво, упорно.

остановились. Из-за двери раздавались звуки ударов, звон разбиваемого стекла, крики. И вдруг все стихло. Дверь отворилась. Из комнаты «для пассажиров I и II класса» повалили мужики, возбужденные, с красными лицами. Я уловил фразу:

— А крови то сколько вышло! Что из барана.

Надвинулись к нам. Кто то крикнул:

— Теперь этих двоих кончай!

Я полулежал на полу, опираясь головой о край дивана. Евгений лежал рядом со мной, так что его разбитая голова покоилась у меня на коленях. Его рванули в сторону, и перед самыми моими глазами метнулись в воздухе его длинные светлые волосы, спекшиеся от крови в бурые комья. Почувствовал удар в голову около левого виска. Затем лишился сознания, — моим последним отчетливым ощущением был какой то глухой шум, — не то обвала, не то водопада, не то приближающегося поезда...

Когда я очнулся, около нас было пустое пространство, толпа отхлынула вглубь комнаты. В дверях стояли солдаты с примкнутыми штыками. Шпнели виднелись и на платформе.

Офицер, маленький, стройный, похожий на мальчика-гимназиста, командовал фальцетом:

— Очистить зал! Выходи все! Караульные к окнам!

В зал входили солдаты. Они цепью вытянулись между нами и толпой и постепенно оттесняли мужиков все дальше, к двери. В то же время позади нас, у окон, выходящих на платформу, встало по два часовых.

172

Я с трудом поднялся, но не мог держаться на ногах. Подбежал какой-то молодой человек — как я узнал, фельдшер — и протянул мне стакан холодной воды. Стало легче. Я спросил фельдшера, что с Чуциным, и узнал, что он жив: ему раскроили голову пивной бутылкой, от удара он лишился сознания и потерял много крови, но рана неопасная.

Появился врач, — не тот, что был днем, а другой. Промыли нам раны, наложили швы. Серьезно было лишь положение Евгения, у него началась рвота, и его сознание казалось омраченным.

Из новгородских товарищей Александров отделился испугом, у землемера Залогина, повидимому, были внутренние повреждения.

Я не знал, находимся ли мы под охраной солдат, или мы арестованы. Чтобы выяснить положение, я прошел из станционного зала в комнату I и II класса. Стоявший в дверях часовой не задержал меня, — значит, мы не считались под арестом.

Комната, в которую я вошел, представляла картину полного разрушения. Выбитое окно, осколки стекла на полу, обломки мебели, битые бутылки, лужи от растаявшего снега, следы крови.

Окно выходило на площадку перед вокзалом. В сгустившихся сумерках была видна волнующаяся толпа мужиков, а в некотором расстоянии от них, ближе к вокзалу — ряд серых шинелей.

Я прислушался. Мужики кричали солдатам:

— Креста на вас нет, что ли? В своих стрелять будете? За жидов стоите?

Я вернулся в ту комнату, где мы подверглись нападению и самосуду. Маленький офицерик непринужденно разговаривал здесь с учительницами,

— с одной из них он был знаком по Новгороду. Я подошел к нему и спросил:

— Господин офицер, какие у вас инструкции?

— Очистить станцию от буйствующих элементов и оградить безопасность находящихся на станции лиц.

— Вы не выдадите нас толпе?

— Что за вопрос? Разумеется, нет!

— В таком случае, обратите внимание на положение перед станцией.

Офицер побежал на площадку, затем вернулся, отдал какие-то распоряжения и убежал вновь, бросив мне на ходу:

— У меня 120 человек. Могу разогнать хоть 5 000. Будьте спокойны.

Фельдшер принес нам полубелого хлеба и масла. Я взял ломоть, но, несмотря на голод, не мог есть — зубы слабо держались в деснах, во рту была кровь.

Уже спустилась ночь. Но толпа перед вокзалом не расходилась. Возбуждение ее, казалось, росло. Доносились пьяные крики:

— Подай их сюда!

— Спалить бы станцию, как они перковь спалили.

Я спросил офицера, почему остаемся мы здесь так долго. Он ответил, что ждет судебного следователя, от которого должны исходить дальнейшие распоряжения.

Наконец, уж после 12 часов ночи, приехал следователь, — тщательно одетый, представительный господин, с интеллигентным лицом.

Переговорив вполголоса с офицером и врачом, следователь обратился к нам и сказал, что считает

необходимым немедленно приступить к допросу. Я ответил за себя и за товарищей, что мы к его услугам. Следователь внимательно оглядел нас и, указывая на Евгения, сказал:

— Первым я допрошу этого господина.

Евгений только что очнулся от обморока и лежал на диване с широко открытыми, неподвижными глазами. Я указал следователю, что едва ли целесообразно допрашивать раненого, находящегося почти что в бреду. Но следователь сухо ответил, что сам знает, когда кого допрашивать.

— Не думаете ли вы, что допрос при такой обстановке должен считаться незаконным? спросил я.

Следователь ответил с раздражением:

— В ваших указаниях я не нуждаюсь.

Евгений понял, о чем мы спорим, и тихо, с видимым усилием, сказал мне:

— Оставьте, тов. Сергей. Я могу отвечать.

Следователь приступил к допросу. Велел придвинуть стол к дивану, на котором лежал Евгений, уселся, разложил бумаги и сказал:

— Прислушайтесь.

В наступившей тишине отчетливо слышался долетавший с площадки перед вокзалом и с железнодорожных путей шум множества голосов, — угрозы, ругательства, обрывки пьяной песни и поверх всего настойчивое:

— Подай их сюда!

Выдержав длинную паузу, следователь сказал Евгению:

— Вы слышали. Так имейте в виду, что я смогу вывезти вас отсюда только в том случае, если вы дадите чистосердечные показания.

173

Не знаю, каких показаний ждал следователь. Евгений и все мы показали, что приехали из Петербурга для участия в уездном учительском съезде; что после съезда беседовали с хоринскими крестьянами, а на следующий день — с рабочими и крестьянами на стекольном заводе; что на ст. Боровенке ни с кем о политике не говорили, и что причин произведенного на нас нападения не знаем. А относительно содержания наших речей мы предложили допросить крестьян, которые нас слышали.

Следователь спросил что то о поджоге церкви, но сам сообразил, что это чепуха, и в заключение допроса объявил, что предъявляет нам всем обвинение по 129 ст. и мерой пресечения для нас определяет содержание под стражей.

Учительницы, как мне показалось, были в первый момент смущены этим обвинением и суровой мерой пресечения. Но я за всех ответил, что против решения следователя возражений мы не имеем. Следователь составил постановление о нашем заключении под стражу, мы расписались, и после этого, с чувством большого успокоения, услышали:

— С ближайшим поездом вы будете отправлены в Новгородскую губернскую тюрьму.

Но когда пришел поезд и мужики узнали, что начальство собирается отправить арестованных в город, толпа хлынула на вокзал, преграждая нам путь к вагонам. Громче раздавались крики, угрозы, ругательства. Офицер вывел солдат на платформу, установил их шпалерами от двери до вагона. Но напор толпы прорвал цепь серых шинелей. Офицер приказал солдатам перестроиться, снова очистил проход от двери до вагона, затем из

не занятых в шпалерах солдат построил новую цепь вокруг нас. Сцепившись локоть за локоть, они образовали как бы живое кольцо, внутри которого поместились мы семеро, — Евгений, новгородские товарищи, Чучин, две учительницы и я. Под этой охраной, посреди дикого рева толпы, казавшейся, в темноте ночи, бесконечной, как море, кое как добрались мы до вагона.

Нам отвели два отделения. В дверях каждого отделения поместились часовые; солдатские шинели виднелись и на площадках вагона.

Свисток, — и поезд тронулся¹⁾.

¹⁾ В черносотенном «Слове» в конце ноября 1905 года была помещена статья С. Сыромятникова, в которой, на основании письма «очевидца события», изображался самосуд крестьян над агитаторами на ст. Боровенке. Статья, если память не обманывает меня, называлась «Революционный пикник». Сообразно тенденции газеты, Евгению (Литкенсу) была придана в статье еврейская фамилия. Были в ней и другие отступления от правды, дававшие черносотенному автору благодарную почву для рассуждений об отношении «народа» к революции.

IV. В ДНИ РАЗГРОМА.

В Новгороде. — Тюрьма. — Освобождение. — «Финансовый манифест.» — Арест Совета Рабочих Депутатов. — Кресты. — Третья забастовка и московское восстание. — Жандармы.

Обстоятельства сложились так, что в дни разгрома движения 1905-го года мне не пришлось быть там, где шел бой, где решался исход борьбы. Отсюда скудость материалов настоящей главы, относящейся к одному из наиболее драматичных моментов русской истории.

В Новгород мы приехали на рассвете. Жандарм, встретивший поезд на платформе, пригласил нас, вместе с сопровождавшим нас конвоем, в пустой зал III класса. Вскоре конвой куда то исчез, осталось при нас лишь три солдата да два жандарма. Отчетливо помню, что у всех нас это сокращение караула вызвало неприятное и тревожное чувство: не мало ли будет 5 человек, в случае нового нападения мужиков?..

Прошло довольно много времени в переговорах по телефону, в проверке списка и в каких то еще формальностях. Затем, к нам подошел бравый жандармский унтер и доложил:

— Экипажи готовы, можно ехать.

С трудом разместились в трех извозничьих пролетках и поехали по безлюдным улицам. Остановились перед зданием, совершенно непохожим на тюрьму: палисадничек с цветами, белые занавески в окнах, ни решеток, ни каменной ограды, ни часовых. Жандармский унтер, первым соскочив с пролетки, предложил нам вылезать.

— Куда это мы приехали? спросил я: Что здесь?

Он ответил:

— Управление.

Через полутемный коридор, загроможденный самыми неожиданными вещами — от детской колясочки до огромной проволочной птичьей клетки — нас проводили в обширную комнату с желтыми шкафами и крытыми черной клеенкой столами. Унтер предложил нам «подождать немного» и ушел, оставив нас одних.

Евгению было дурно. Уложили его на деревянном диване, укутав возможно теплее. Остальные примостились, кто как, — всем хотелось вздремнуть, хоть немного. Но сон не шел. Нервы были слишком возбуждены пережитым. Чучин, очень бледный, с повязкой вокруг головы, но уже по старому веселый и деятельный, пошел «на разведку».

Спустя несколько минут он вернулся и сообщил:

— Во всем доме ни души. А знаете, что я нашел? Самовар! Чаю хотите?

Пить всем хотелось, но сомневались, удастся ли найти в пустой канцелярии чай для заварки, сахар и стаканы. Хоринский учитель принялся за

поиски: заглядывал в ящики столов, пробовал, не открываются ли дверцы шкафов.

В комнату вошел пожилой полковник, с пышной, расчесанной на две стороны бородой. Щелкнув шпорами, он поклонился нам и представился:

— Начальник Новгородского Губернского Жандармского Управления. Не имеете ли заявлений и просьб?

Мы ответили, что заявлений не имеем. В это время в соседней комнате Чучин загремел самоваром.

Полковник заглянул в открытую дверь и вдруг заволновался:

— Как же это, господа? Неужто вы до сих пор без чаю? Дежурный!

На его зов явился жандарм с заспанной физиономией. Полковник напустился на него:

— Не видишь, что люди с дороги? Не мог самовар поставить? Живо, и чтоб хлеб был сейчас же! И масло, и колбаса! Все!

Я спросил заботливого полковника:

— Мы арестованы?

Он развел руками:

— Повидимому, это была простая формальность... Во всяком случае, прошу вас об этом не думать. Подкрепитесь, напейтесь чаю, а я разберусь в вашем деле. Доброго аппетита.

Вошли два жандарма, расстелили газету на канцелярском столе, выложили кульки с хлебом, колбасой, маслом. Затем принесли кипящий самовар.

Когда мы напились чаю, вновь появился полковник. Вид у него был озабоченный.

— Всем вам, господа, сказал он, предъявлена 129 ст. с безусловным содержанием под стражей. Заранее можно предвидеть, что это обвинение отпадет, — по крайней мере, по отношению к некоторым из вас. Но кое что в деле, все-таки, останется. Изменить меру пресечения сейчас же, не произведя дознания, я не имею права. Прошу верить, что сделаю все от меня зависящее, чтобы не задерживать вас ни одного лишнего дня. А пока я должен распорядиться проводить вас в тюрьму... Начальнику — это милейший человек — я дал необходимые указания. Если же вы будете чем либо недовольны, — прошу обращаться ко мне.

Полковник вежливо поклонился, щелкнул шпорами и вышел из комнаты.

Это был первый жандармский офицер, с которым мне пришлось столкнуться. И должен признаться, что его манеры и все его поведение изумили меня, — я представлял себе жандармов совершенно иными¹⁾.

* * *

В губернской тюрьме нас разделили: учительниц отправили в женское отделение, Александрова и Залогу — в «следственный коридор», Чучина, Евгения и меня — в больницу.

Нам отвели довольно большую, светлую и чистую камеру в два окна. Помещение нам понравилось.

¹⁾ Позже я узнал, что начальник Новгородского Жандармского Управления — не могу припомнить его фамилию — был, действительно, совершенно исключительной фигурой в рядах этого ведомства. Это был порядочный, прогрессивно настроенный человек, по какому то странному недоразумению попавший в жандармы. Вскоре он вышел в отставку.

лось, только матрацы и подушки, набитые свежей соломой, казались нестерпимо жесткими, да неприятно было, что окно забрано частой железной решоткой. К этому присоединялось еще одно раздражающее впечатление, — не смолкавший с раннего утра до поздней ночи звон цепей. Тюрьма казалась наполнена этим звоном: лязг железа слышался и со двора, и с коридора, и из соседних камер, и сверху, и снизу. Почти мелодичные звуки, — не слишком громкие, не слишком резкие, — но от них тоскливо сжималось сердце.

В тюрьме, кроме нас, политических заключенных не было: единственный политический подследственный, ранее содержавшийся в ней, был недавно освобожден по манифесту. Естественно, мы стали центром внимания тюремной администрации: начальник, его помощник, врач, фельдшер — все по нескольку раз в день навещались к нам, и все были любезны до чрезвычайности.

Врачебный уход был удовлетворительный. Впрочем, в серьезном уходе нуждался только Евгений. Чучин уже на второй или на третий день мог считаться здоровым. Я был на пути к выздоровлению, хотя чувствовал еще большую слабость.

Из города нам ежедневно присылали обильные передачи. И было как то по-особенному приятно, что мы не знали, от кого эти передачи, знали лишь, что от товарищей.

Были у нас и книги. Но Евгений совершенно не мог читать, я читал через силу, и только Чучин жадно глотал том за томом.

Газет первые дни мы не получали. Затем стали получать «Новую жизнь» и «Русь», — не помню

только, были ли газеты официально разрешены нам, или их передавал нам нелегально кто-то из чинов тюремной администрации.

В первой же газете, которую мы получили, мы прочли описание убийства Генкиной на вокзале в Иваново-Вознесенске. Помню, с этой, отчеркнутой цветным карандашом, заметки петитом на 4-й странице начали мы чтение газеты. И такое подавляющее впечатление произвел на нас рассказ об этом убийстве, что не было сил продолжать чтение газеты...

А на другой день или, может быть, через два дня, мы прочли в газете об аресте председателя Петербургского Совета Рабочих Депутатов Хрусталева-Носаря.

В предидущей главе, говоря о Совете, я не останавливался на характеристике этого человека, в течение нескольких незабываемых недель стоявшего так высоко во главе петербургского пролетариата, и впоследствии павшего так низко. Но здесь я хотел бы отметить, что, как ни оценивать личность Хрусталева, председателем Совета он был блестящим. Он умел вести заседания уверенно, без излишней формалистики, без суетливости, уважая права всех членов собрания и твердо защищая достоинство Совета. Он редко выступал докладчиком по политическим вопросам, но почти всегда ему приходилось резюмировать прения, и его «заключительное слово» всегда отличалось сжатостью, ясностью, убедительностью. Кроме того, на нем лежала большая часть внутренней организационной работы в Совете. Его арест был одно-

177
временно тяжелым ударом по Совету и дерзким вызовом со стороны реакции.

При обсуждении в Совете вопроса о том, как реагировать на этот вызов, раздавались голоса, требовавшие немедленного объявления всеобщей забастовки. Эти предложения были отвергнуты, — слишком очевидно было, что при сложившихся обстоятельствах, при расширяющемся с каждым днем локауте, при растущей безработице, новая забастовка не под силу петербургским рабочим.

Решено было удовлетвориться резолюцией, — конечно, не либеральной резолюцией протеста, а резолюцией, отвечающей революционной природе Совета и серьезности момента.

Принятая резолюция гласила:

«26 ноября царским правительством взят в плен председатель С. Р. Д. т. Хрусталева-Носарь.

«С. Р. Д. временно избирает президиум и продолжает готовиться к вооруженному восстанию».

Здесь повторилась уже знакомая нам картина: оказавшись перед дилеммой — забастовка или ничего, — Совет вновь пытался найти выход из этой дилеммы в революционной словесности.

Но такова сила слов, что на нас, лежащих в тюремной больнице и всего несколько дней тому назад еле-еле избежавших смерти от рук боровенковских мужиков, известие об аресте Хрусталева и о резолюции, принятой по этому поводу Советом, произвело впечатление набатного зова, и этот зов отзывался в наших сердцах не тревогой, а радостью!

178

Конец неопределенности, конец шатаниям и сомнениям! Теперь — восстание и, конечно, победа народа!

* * *

На седьмой день нашего заключения, 29 утром, нас вызвали в тюремную контору. Чиновник судебного ведомства — судебный следователь или товарищ прокурора, не помню, — объявил нам, что, в результате произведенного на месте дознания, преследование по отношению к обоим учительницам, Залоге, Александрову и Чучину прекращено, поименованные лица подлежат немедленному освобождению из под стражи, и обвинение по 129 ст. будет предъявлено лишь Литкенсу и мне.

Освобождаемым товарищам тут же вернули отобранные у них на ст. Боровенке вещи, — при чем я успел за одно сплавить Чучину свою записную книжку. Попрощались, — и товарищи, пожелав нам скорого освобождения, отправились на волю, а мы остались в тюремной конторе с судебским чиновником.

На мой вопрос, в чем именно обвиняемся мы, чиновник объяснил, что 129 ст. Уголовного Уложения предъявлена нам за призыв крестьян к насильственному ниспровержению существующего строя.

Я ответил на это, что считаю предъявление нам 129 ст. Уг. Ул. простым недоразумением, так как самое упоминание об этой статье является анахронизмом: «существующий строй», на страже которого стояла 129 ст., после 17 октября перестал существовать; новый строй еще не установлен; следовательно, неизвестно, что охраняет 129 ст.; неизвестно, рав-

ным образом, к ниспровержению чего призывали мы крестьян. А кроме того, закончил я свои объяснения, каждая партия имеет право предлагать народу свою программу, и никто не может препятствовать нам в распространении идей той партии, к которой мы принадлежим.

Чиновник, внимательно выслушав меня, предложил представить эти объяснения письменно, в форме показаний. Затем, на верху листа он написал формулу протокола допроса с сакраментальными словами:... «в предъявленном мне обвинении в том, что я... виновным себя не признаю, и по существу предъявленного мне обвинения заявляю»... Этот лист он передал мне и предложил дальнейшее написать не спеша, в камере. Я спросил его, не может ли он ознакомить меня с показаниями, данными против меня. Чиновник ответил, что все показания будут предъявлены мне при окончании следствия, и заметил при этом:

— Собственно, там интересного мало. Подробные показания дают, главным образом, те, кто не был на ваших митингах. А те, чьи показания должны были бы представлять наибольший интерес, ничего не показывают...

Значительно позже, уже в конце 1909 года, когда мое боровенковское дело было назначено к слушанию, мне пришлось познакомиться с показаниями крестьян. Действительно, все хоринцы — а их было допрошено человек 20 — решительно выгораживали нас, при чем иные из них говорили даже, будто мы убеждали крестьян, чтобы не было никаких беспорядков и чтобы все шло «по закону». В том же духе давали показания и рабочие

стекольного завода. Крестьяне же, бывшие на митинге в заводской школе, путали и противоречили друг другу. Наконец, что касается до боровенковских мужиков, то они, повидимому, боялись, как бы не попасть под ответ за самоуправство, и потому в своих показаниях настаивали на том, что сами, мол, ничего не знают, а только от других, стороной, слышали то-то и то-то... И за этим следовала чепуха, которой, очевидно, нельзя было принимать всерьез.

На таком материале трудно было построить обвинение. А создавать «дело» из ничего русский суд научился лишь позже, при «конституционном» строе.

Вот почему мы с Евгением вышли из тюрьмы раньше, чем рассчитывали.

После утреннего разговора с чиновником, я сел писать свои «показания». После обеда бумага была готова, и начальник тюрьмы послал ее с надзирателем в суд. А на другой день, ранним утром, к нам в камеру явился помощник начальника и поздравил нас с благоприятным оборотом нашего дела: от прокурора окружного суда пришла бумага о немедленном освобождении нас из под стражи¹⁾.

* * *

¹⁾ Позже прокурорский надзор Петербургской Судебной Палаты опротестовал это решение новгородской прокуратуры и предписал ей подвергнуть Литкенсу и меня задержанию впредь до суда. Новгородская прокуратура отказалась исполнить это предписание, считая его незаконным. Возникло «пререкание», о котором я в то время ничего не знал, и которое закончилось победой Петербургской Судебной Палаты. По прямому приказанию из Петербурга, новгородский следователь написал постановление о моем

179

Первое мое впечатление по возвращении в Петербург было, что за 11 дней нашей поездки в деревню и пленения в Новгородской тюрьме вся политическая обстановка изменилась, положение до крайней степени обострилось.

Военные восстания в Елисаветполе, Севастополе, Киеве, Харькове, Екатеринодаре, Проскурове, Курске; рабочие беспорядки в Новороссийске; волнения в Манчжурской армии, брожение в войсках в Москве и Петербурге; биржевая паника в связи с почтово-телеграфной забастовкой; а с другой стороны — начавшиеся обыски и аресты. Затишье на революционном фронте явно сменилось оживлением; чувствовалось, что дело идет к решительному бою. И казалось, что в предстоящей последней схватке рабочие уже не будут так одиноки, как в дни второй забастовки.

Так, бюро Союза Союзов выпустило воззвание к обществу:

«Арест председателя Совета Рабочих Депутатов Хрусталева-Носаря и увольнение со службы поч-

заклучении под стражу, и на основании этого постановления я был в декабре 1906 года арестован. Затем, эта мера пресечения была заменена денежным залогом (в 3000 рублей), и я был освобожден. Наше дело продолжало тянуться после этого еще три года. Оно было назначено к слушанию в выездной сессии Петербургской Палаты в Новгороде в декабре 1909 года. Для суда я был доставлен в Новгород из Екатеринослава, где отбывал каторгу по приговору военного суда. Узнав об этом приговоре, поглощавшем наказание, грозившее мне по 129 ст., Палата постановила мое боровенковское дело прекратить. По отношению к Литкенсу дело было прекращено еще раньше, в виду его смерти: арестованный на юге России за революционную пропаганду среди крестьян, Евгений скончался в тюремной больнице.

тово-телеграфных служащих за участие в забастовке центральное бюро всероссийского и центральный комитет петербургского Союза Союзов рассматривают, как демонстративное заявление со стороны правительства, что оно намерено силой подавить освободительное движение и силою же отобрать у народа те гражданские права, которые завоеваны им упорной борьбой.

«Центральное бюро и комитет призывают русское общество принять эту правительственную демонстрацию, как доказательство того, что политическая свобода не может быть получена народом иначе, как путем вооруженной борьбы.

«Для ослабления сил нашего противника в нашей борьбе могучим средством явится всеобщая политическая забастовка.

«Центральное бюро и комитет признают необходимым для всех живых элементов страны деятельно готовиться к этой забастовке и одновременно к последней вооруженной схватке с врагами народной свободы».

Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов, в предвидении этой последней схватки, выпустил воззвание к войскам, озаглавленное «Совет Рабочих Депутатов отвечает солдатам».

С другой стороны, за последние дни ноября в необычайной степени усилилась черносотенная кампания против Совета: правые газеты были полны дышащими ненавистью статьями против представительного органа петербургских рабочих; на фабриках и заводах распространялись выпущенные полицией листки, обвинявшие членов Со-

вета в присвоении рабочих грошей и призывавшие рабочих «сбросить с себя иго Совета».

На партийной явке, куда я отправился немедленно по возвращении в Петербург, я услышал разговоры, которых у нас не было две недели тому назад: за это время товарищи начали чрезвычайно интересоваться состоянием биржи, курсом различных ценных бумаг, а в особенности, курсом русского рубля за границей и движением вкладов в государственных сберегательных кассах. В первый момент я ничего не мог понять в этих новых для меня разговорах. Затем, я узнал, что почтово-телеграфная забастовка (которая только началась, когда я уезжал из Петербурга) вызвала на бирже панику, какой не было даже в октябрьские дни, и это подало революционным партиям мысль использовать давление на биржу и на финансовый аппарат страны, как оружие в борьбе с самодержавием.

Уже 22 ноября Исполнительный Комитет Совета решил призвать «рабочий класс и все бедные классы населения», в виду наступающего государственного банкротства, брать свои вклады из сберегательных касс и требовать при всяких расплатах (в том числе и при получении заработной платы) звонкой монеты».

Не знаю, какие теоретические соображения подсказали эту меру, но помню, что в представлении товарищей, объяснявших мне 1—2 декабря этот новый метод борьбы с самодержавием, идея финансового бойкота правительства тесно связывалась с почтово-телеграфной забастовкой.

2-го декабря в социалистических и радикальных газетах появился известный «финансовый манифест»,

подписанный Петербургским Советом Рабочих Депутатов, Главным Комитетом Всероссийского Крестьянского Союза и центральными комитетами Р. С.-Д. Р. П., П. С.-Р. и Польской Социалистической Партии. Этот манифест призывал население «отказываться от взноса выкупных и всяких других казенных платежей. Требовать при всех сделках, при выдаче заработной платы и жалования — уплаты золотом, а при суммах меньших пяти рублей — полновесной звонкой монетой. Брать вклады из государственных сберегательных касс и из государственного банка, требуя уплаты всей суммы золотом».

К этим мероприятиям, направленным против кредита правительства в н у т р и страны, манифест присоединял решение, имевшее целью подорвать и в н е ш н и й, международный кредит самодержавия:

«Мы решаем не допускать уплаты долгов по всем тем займам, которые царское правительство заключило, когда явно и открыто вело войну со всем народом».

В тот же день все газеты, напечатавшие этот документ, были закрыты. Стало ясно, что «решительная схватка» — вопрос ближайших дней, быть может, ближайших часов.

На 3-е декабря было назначено в Вольно-Экономическом Обществе заседание Совета Рабочих Депутатов. Ждали, что на этом заседании будут приняты решения величайшей важности.

* * *

Хотя вследствие упадка сил я не мог еще принимать участие в революционной работе, все же 3-го вечером я пошел в Совет, — казалось невозможным пропустить столь интересное, историческое заседание.

По дороге в Вольно-Экономическое Общество я зашел проводить Евгения. Он лежал, и его состояние внушало серьезные тревоги его отцу врачу. У постели больного я засиделся дольше, чем предполагал, и потому немного запоздал в Совет: заседание было назначено на 7 часов, а я пришел в Вольно-Экономическое Общество около 8 часов.

Приближаясь к 4-й Роте, я обратил внимание на необычное скопление полиции и войск, — повсюду виднелись усиленные полицейские посты, патрули, казачьи раз'езды. Но публику пропускали свободно, никого не задерживали. В палисаднике, примыкающем к зданию, где заседал Совет, виднелись солдаты. Стояли они как то странно, — цепью вдоль здания, обернувшись спиной к улице, лицом к выходящим в сад окнам первого этажа. Мне показалось, что они из любопытства глядят в окна, и я учел их интерес к работе Совета, как благоприятный симптом.

На улице перед зданием полиции было меньше. Только около двери стояли два околоточных. Когда я поровнялся с дверью, один из них окликнул меня:

— Вы не в Совет ли Рабочих Депутатов?

— Да.

— Так входите, пожалуйста, — заседание уже началось.

Я переступил через порог и сразу увидел, что попал в ловушку.

В передней толпилось человек двадцать городских и околоточных. Поперек комнаты, у двери, ведущей из передней в следующий зал, был поставлен стол. За ним сидел человек в военном мундире, — не то полицейский чин, не то жандармский офицер. Меня подвели к нему. Он спросил строго:

— Вам что здесь нужно?

Я ответил:

— Ничего особенного. Ваши же околоточные зазвали меня сюда с улицы — можете спросить их.

— А, так? А вы не знали, что здесь собирается Совет Рабочих Депутатов? До сих пор вы в Совете не бывали?

Я ответил:

— В Совете я бывал не раз и теперь шел на заседание.

— В таком случае — пожалуйста.

Следующая комната была занята солдатами. Стояли рядами, с ружьями в руках, повернувшись лицом к дверям зала заседаний. Перед строем нервно расхаживал взад и вперед офицер.

Я вошел в главный зал, и моим глазам представилась следующая картина:

Вдоль стен шпалеры солдат. Ружья с примкнутыми штыками видны и над золоченой баллюстрадой хор. В кольце штыков — рабочие депутаты.

Зал полон, все сидят на обычных местах. Лишь за председательским столом — никого.

Пол, как снегом, усыпан клочками бумаги.

182

Когда я вошел в дверь, один из депутатов сказал мне:

— Постановление Исполнительного Комитета — сопротивления не оказывать, документы уничтожить, показаний не давать, имен не называть. Если есть оружие, привести в негодность.

Оружия при мне не было. Я отыскал свободный стул, сел и принялся уничтожать бывшие при мне бумаги. Большинство депутатов было занято этим же делом.

Недалеко от меня рабочий вертел в руках браунинг, стараясь сломать его. Другой рабочий подошел к нему и сказал:

— Давай сюда! Это нужно уметь.

Положил револьвер перед собой на председательский стол, вынул из за пояса тяжелый короткий кинжал и, работая им, то как отверткой, то как зубилом, разобрал и поломал браунинг в мелкие куски. Покончив, спросил:

— У кого есть еще? Пусть врагам не достанется.

Еще подали маузер. В тишине слышались удары стали о сталь... Вскоре зеленое сукно покрылось обломками. Теперь работало уже несколько человек.

Было что-то непередаваемо печальное в том, как эти люди под сотнями наведенных на них солдатских ружей, ломали, разбивали свое оружие, вдруг ставшее таким бесполезным, ненужным...

— У кого есть еще? снова спросил рабочий, первый начавший эту работу.

Никто не отозвался. Тогда он сломал свой кинжал и бросил куски его на груды обломков стали.

Я приглядывался к солдатам. Тупые, бесстра-

ные лица. Много пьяных. В нетрезвом состоянии был и офицер, командовавший полуротой.

Настроение депутатов было подавленное, хотя все держались с наружным спокойствием. Я слышал около себя разговор:

— Ну, что же теперь? В тюрьму отправят?

— Может, в тюрьму, а то и здесь, на дворе...

— Без суда, думаешь?

— А на что им суд? Выведут во двор, скома-
дуют, — и готово...

Был один неприятный момент. Из толпы депутатов вышел молодой парень, очень плохо одетый, более похожий на золоторотца, чем на рабочего. Подошел к офицеру и взмолился:

— Ваше благородие, отпустите, Христа ради... Я всегда за царя, за начальство... Я всей душой...

Послышались возгласы негодования в зале. Но один из депутатов — кажется, Петр с Франко-Русского завода — крикнул:

— Товарищи, спокойствие! Не поддавайтесь на провокацию! Не обращайте внимания на негодя. Все стихло.

Парень продолжал плакать перед офицером. Тот спрашивал его:

— Как ты к жидам попал?

— Выбрали меня и послали... В первый раз я... не знал ничего... Смилуйтесь, ваше благородие...

— Ну, ладно, ступай!

Офицер вытолкнул его из зала.

Прошло часа три в тяжелом напряженном ожидании. Поздней ночью приехали в Вольно-Экономическое Общество судебные власти. Хотели

составить список арестованных. Но депутаты заявили:

— По постановлению Исполнительного Комитета, имен называть не будем.

Опять прошло довольно много времени. Но все были теперь как то спокойнее: уже не ждали расстрела...

Затем, предложили выходить из зала группами по двадцать человек. Я попал в 3-ю или 4-ю группу. Перед столиком в передней сидел чиновник Охранного Отделения¹⁾ и к каждому из арестованных обращался с одним и тем же вопросом:

— Ваше имя?

Ответ у всех был один:

— Не скажу.

Тогда чиновник спрашивал:

— Как вас записать?

— Запишите, как хотите.

Мне после этого ответа чиновник предложил:

— Снимите галоши!

И заглянув в галоши, занес меня в список под псевдонимом: «Буквы В. В. в галошах». Один товарищ получил еще более длинный псевдоним: «Круглая борода и палка с набалдашником». Другие шли под кличками: «Калмык», «Каракулевая шапка», «Широкий пояс». Один молодой парень (впоследствии повешенный в Екатеринославе) сам выбрал себе прозвище: «Крамольник».

Когда список был готов, нас вывели на улицу. Здесь стояла огромная карета-фургон, со всех сторон окруженная солдатами. Влезли в нее. Двер-

¹⁾ Это был Статковский.

ца затворилась. Но карета не трогалась в путь. Затем, дверца отворилась вновь, и в нее просунулась голова в форменной фуражке:

— Место у вас есть? Тут еще одного забыли... Потеснитесь для товарища.

Форменная фуражка исчезла. В дверцах показалась фигура в штатском и сразу залебезила:

— Вот, спасибо, товарищи! А то мне, товарищи, пешком пришлось бы идти. А у меня ноги, товарищи...

Но рабочий, сидевший с краю у входа, двинулся к дверце, и «товарищ» кубарем полетел с подножки. Снова появилась голова в фуражке:

— Что же вы товарища не принимаете? Пешком его гнать придется, а дорога дальняя...

Ему ответили:

— Это — ваш товарищ, гоните его, как хотите.

С улицы послышалось:

— Ишь, сволочи, пронюхали...

Дверца снова захлопнулась. Слышался топот копыт, лязг оружия. Затем команда: «Пошел». И карета, окруженная конным караулом, двинулась.

В дороге нас ждало новое приключение. Отъехали уже довольно далеко, когда вдруг раздался треск, карета накренилась на бок и остановилась, — сломалось одно из передних колес:

Кто то пошутит:

— Видно, Совет Рабочих Депутатов слишком тяжел для кареты самодержавия.

Полчаса сидели в полусвалившейся повозке. Затем, нам было предложено вылезти и продолжать путь пешком. Это было на Литейном проспекте, недалеко от Невы. Конный караул, сопровождав-

— совет ждал а?
— У рисовало а-ав весь совет (пр. орган сиб. с.х.)
— W помни на то? W и л?
184

ший нас из Вольно-Экономического Общества, был усилен пехотинцами. Нас выстроили по четыре в ряд. Кругом встала пехота, спереди и сзади построились всадники. Мы двинулись к Литейному мосту и, перейдя Неву, свернули направо, к «Крестам».

* * *

«Кресты» — несомненно, наилучше описанный уголок нашего обширного отечества. Не буду поэтому возвращаться к изображению этого учреждения и его порядков. Отмечу лишь, что мне лично пребывание в одиночке оказалось весьма полезно.

Я был еще очень слаб после Боровенки, испытывал непривычные головокружения, у меня начался особый вид галлюцинации, — перед глазами непрерывно двигались слева направо черные точки, похожие на летающих в воздухе мух или бабочек. Тюремный врач, осмотревший меня на другой день после ареста, нашел у меня острую форму неврастения и прописал бром и абсолютный покой. Бром мне был тотчас же выдан из тюремной аптеки, а что касается до «абсолютного покоя», то одиночка в «Крестах» была, быть может, единственным местом, где я мог найти покой в эти тревожные дни.

Жизнь протекала здесь безмятежно спокойно. С воли не приходило никаких вестей. Казалось, после 3-го декабря все уснуло, борьба прекратилась, грозные тучи, обложившие небо, рассеялись, не родив ни пламенных молний, ни грома.

Дней через 10 после ареста меня вызвали на 24*

допрос. Жандармский офицер спросил мое имя. Я отказался отвечать. Тогда жандарм осведомился:

— Вы это по постановлению Исполнительного Комитета, или у вас имеются личные основания?

— По постановлению Исполнительного Комитета.

— Так оно отменено. Почти все члены Совета уже называли свои имена.

И жандарм протянул мне кипку листов. Кипка показалась мне жидковатой, — в ней было листов пятьдесят, — и я сказал:

— Я предпочитаю пока сохранить свой псевдоним.

— Как вам угодно, согласился жандарм: Я на этом ничего не теряю.

Дня через три он вызвал меня вновь и опять показал пачку листов с протоколами: теперь кипа была довольна внушительная. Тогда я назвал свое имя. Никаких других вопросов на этот раз жандарм не ставил.

Скучно в одиночке не было: я много читал, главным образом, Глеба Успенского, Златовратского, — вообще, о крестьянской жизни. Ни с кем из арестованных товарищей я не встречался. Гулять меня выпускали на отдельный дворик, где между сугробами снега была протоптана дорожка шагов в 30. Потом стали изредка выводить на общую прогулку, но здесь политические гуляли попеременно с уголовными, и часовые строго следили за правильностью «интервалов», так что не было возможности переговорить со своими.

Между тем, долгое молчание начинало надоедать мне. Я сделал попытку вступить в разговор

со своим соседом по прогулке, уголовным. Но начал я с самого неудачного вопроса:

— За что вы сидите?

Мой сосед ответил:

— За дрова.

— Как это за дрова?

— Очень просто. Дрова продавал.

Я никогда не слышал о том, чтобы людей арестовывали за продажу дров, и выразил свое недоумение. Мой сосед с досадой пояснил:

— Да дрова то были краденные.

На этом беседа оборвалась.

В другой раз я попытался разговаривать с дежурившим на коридоре надзирателем. Это был сравнительно молодой парень, смуглый, скуластый, со смышленным лицом, с черными усиками. Другие надзиратели звали его «порт-артурец». Я спросил его, был ли он на войне. Надзиратель ответил утвердительно и пустился рассказывать о Стесселе и о других генералах. Между нами вскоре установились приятельские отношения, и солдат всячески старался проявить свое внимание ко мне.

Кипяток для утреннего чая раздавался по одиночкам очень рано, — часов в 6 или даже в 1/2 6-го. И вот, мой солдатик, заметив, что я в этот час обыкновенно сплю и вскакиваю с постели, когда открывается форточка, решил избавить меня от беспокойства: стараясь не греметь ключами, он отворял дверь моей одиночки, на цыпочках заходил в камеру, наливал кипяток в кувшин и чайник, прикрывал чайник моей меховой шапкой, чтобы вода не простыла, и уходил, оглядываясь в дверях, не разбудил ли меня.

Но о том, что происходило в эти дни на воле, порт-артурец ничего не мог рассказать мне.

Я узнал об этих событиях в 20-х числах декабря, перед самым Рождеством, узнал совершенно случайно.

Гуляя на отдельном дворике, я услышал стук форточки в окне первого этажа и, взглядевшись, узнал в переплете решетки лицо Короткова, моего товарища по университетскому Совету Старост и по ораторской коллегии. Он окликнул меня и спросил:

— Новости знаете?

— Какие?

— О Москве?

— Что там?

— Барикады.

Приходилось перекидываться отрывочными словами, чтобы не заметил часовой. Коротков успел сообщить мне:

— С 7-го забастовка. Войска отказываются стрелять. Город в руках наших...

Вернувшись в одиночку, я спросил порт-артурца, что творится на воле. Он ничего не знал — слышал лишь, что «идут бунты», — но обещал раздобыть для меня «хорошую газетку». На другой день он принес мне № «Нашего Голоса», вышедший 18-го декабря.

С лихорадочным волнением пробежал я серые строчки и не знал, как оценить все происшедшее за последние две недели: разгром ли это и крушение всех наших надежд? или начало того «последнего, решительного боя», о котором мы столько писали

и говорили? или пролог к грядущим, еще более бурным событиям?

* * *

Третья (декабрьская) всеобщая забастовка была не только забастовкой протеста: она имела и положительный, конкретный, политический лозунг — Учредительное Собрание, избранное на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.

Эта забастовка не началась стихийно, как октябрьское выступление пролетариата, — она была назначена: в Петербурге переизбранным Советом Рабочих Депутатов совместно с центральными комитетами Р.С.-Д.Р.П., П.С.-Р. и Бунда, в Москве — Советом и местными партийными организациями, на железных дорогах — заседавшему в Петербурге конференцией представителей 28-ми железных дорог.

Все организации, призывавшие пролетариат к забастовке, отдавали себе отчет в том, что на достигнутой ступени борьба не может ограничиться простым скреплением рук.

Петербургский Совет Рабочих Депутатов и центральные комитеты революционных партий в обращении «ко всему народу» писали:

«Граждане, свобода или рабство! Россия, управляемая народом, или Россия, расхищаемая шайкой грабителей. Так стоит вопрос. Подымайтесь все — рабочие, крестьяне, интеллигенция, — подымайтесь, борцы за народную свободу и народное счастье...

«Солдаты и матросы! Вы часть народа, но вас ведут против народа. Все ваши требования также

и наши, но вас ведут против нас. И вы в крови народной утопите свою собственную свободу. Не слушайте команды, слушайте голоса народного. Присоединяйтесь к нам. Восстаньте заодно с нами. Нет силы, которая могла бы пойти против армии, объединившейся с народом».

Равным образом, и конференция железнодорожников, объявляя забастовку железных дорог, рассчитывала на то, что предпринимаемое выступление будет поддержано военным восстанием. К солдатам были обращены первые строки выпущенного конференцией воззвания о забастовке:

«Объявляя забастовку, мы берем на себя возвращение войск из Манчжурии, доставку эшелонов в Россию скорее, чем это сделало правительство»...

И заканчивалось это воззвание словами:

«Товарищи! Смело и дружно в борьбу за свободу всего народа. Мы не одни... Городской пролетариат, трудовое крестьянство и сознательная часть флота и армии уже восстали за народную свободу, за землю, за волю».

7-го декабря началась забастовка в Москве. 8-го забастовал Петербург.

Из сообщений «Нашего Голоса» было ясно, что в Петербурге забастовка проходит хуже, чем в октябре и ноябре. Бастовало около 100.000 человек, многие заводы работали, другие были закрыты вследствие локаута. В городе, по словам газеты, забастовка ощущалась слабо: торговые предприятия оставались открыты, работала конка, правительству удалось восстановить освещение улиц.

На железных дорогах забастовка совсем не удалась: правительство не было на этот раз застиг-

нуто врасплох; оно успело занять войсками вокзалы главных узловых станций, железнодорожные мастерские, депо, мосты и туннели, и силой штыков заставило железнодорожников водить и пропускать поезда.

А в Москве уже на второй день забастовки, 8-го декабря, начались столкновения забастовщиков с правительственными войсками; 10-го декабря была пущена в ход артиллерия; Москва покрылась барикадами; в течение недели в десятках мест шли бои между повстанцами и правительственными войсками.

Как последнюю новость, «Наш Голос» сообщал о борьбе на Пресне:

«Весь район оцеплен войсками. Идет стрельба из орудий. Горит несколько домов. Часть революционеров погибла в огне, часть арестована...

«Стрельба усиливается... Бомбардируют фабрики Шмидта и Прохоровскую мануфактуру. Подходят еще войска. Революционеров не забирают, а расстреливают.

«... Прохоровская мануфактура, где собралось до 10.000 рабочих и революционеров, обложена тесным кольцом войск трех родов оружия».

В то время, когда я читал эти сообщения, в Москве уже был восстановлен «порядок», и победители уже творили расправу над побежденными. Но долгое время я не знал об этом; для меня движение как бы застыло на той ступени, на которой застал его выпуск «Нашего Голоса»: провалившаяся забастовка на железных дорогах, не удавшаяся забастовка в Петербурге, разрозненные,

несогласованные выступления рабочих в провинции, догорающее восстание в Москве.

А крестьянство? спрашивал я себя: А войска?

Крестьяне остались в стороне от движения — так же, как в ноябре, так же, как в октябре, так же, как в январские дни.

Солдаты местами колебались, отказывались идти против народа. А в это время другие воинские части рубили, кололи, стреляли из ружей, из пулеметов, из пушек.

Но в рабочих массах все еще не умерла вера в победу. Петербургский Совет Рабочих Депутатов, — точнее, его Исполнительный Комитет, — решая прекратить забастовку, облек свое решение в форму резолюции, которая должна была звучать гордо и грозно:

«Совет Рабочих Депутатов объявляет в понедельник 19-го декабря забастовку прекращенной.

«В виду того, что борьба народа с правительством не может более ограничиться одной дезорганизацией хозяйственной жизни страны при помощи всеобщей забастовки и уже сейчас принимает во многих местах России характер вооруженного выступления, Совет Рабочих Депутатов решает перейти немедленно к боевым действиям и приступить к организации вооруженного восстания».

Восстание было уже позади, оно уже было подавлено, но незыблемой оставалась вера в восстание, как в некоего грядущего Мессию. В этой вере искал пролетариат опоры и утешения под бременем падавших на него ударов...

* * *

Вскоре после Нового Года меня вызвали на допрос.

Допрашивал меня молодой жандармский ротмистр. Обвинение было сформулировано так: «...принадлежал к сообществу, присвоившему себе наименование Совета Рабочих Депутатов и поставившему целью насильственное ниспровержение существующего государственного и общественного строя». Прочитав эту формулу, ротмистр сказал:

— Ну, разумеется, — «виновным себя не признаю, а в объяснение по существу предъявленного мне обвинения имею заявить следующее»...

Внеся эти слова в протокол, он принялся далее записывать мои объяснения, сводившиеся к тому, что членом Совета я не состоял, а заседания посещал в качестве гостя,

Записав мои показания, жандарм протянул мне бумагу для подписи. Пробежав протокол, я убедился, что составлен он правильно, и готов был скрепить его, но меня остановило такое соображение:

— Если я подпишусь под заявлением, что не признаю себя виновным в принадлежности к сообществу, присвоившему себе такое то наименование и поставившему себе такие то цели, то не будет ли это означать, что я подтверждаю квалификацию, данную этому «сообществу» жандармами?

Поразмыслив, я заявил ротмистру, что протокола в таком виде подписать я не могу. Начался спор.

Наконец, ротмистр в сердцах передал мне лист и сказал:

— Исправьте сами, как хотите, только оговорите, в конце, поправки.

Я исправил протокол следующим образом:

— «Виновным в предъявленном мне обвинении в том, что я принадлежал к сообществу, которое, по выражению допрашивающего меня жандармского ротмистра, «присвоило» себе наименование Совета Рабочих Депутатов и, по мнению того же ротмистра, поставило себе целью насильственное ниспровержение ... и т. д.»

Ротмистр был взбешен, но протокол принял.

Недели три спустя, уже в конце января, меня вызвали, под вечер, в тюремную контору. Выводящий предупредил меня:

— Пальто, шапку возьмите, а вещей не надо.

Из конторы меня отправили на извозчике в пролетке, в сопровождении надзирателя, в жандармское управление. Здесь не было ни малейшего намека на провинциальный уют, царивший в жандармском управлении в Новгороде. На всем лежал отпечаток какой-то холодной торжественности. При входе меня тщательно обыскали. Затем, пришлось долго ждать в огромном зале с бесконечным, крытым зеленым сукном столом в форме «покоя». Наконец, дверь отворилась, и за столом появился маленький, плюгавенький человечек с голым черепом и топорщащимися черными усами (как я узнал позже, это был жандармский генерал Иванов).

Развернув на столе перед собой несколько объемистых папок с надписью красным карандашом «С. Р. Д.», он погрузился в бумаги. Затем, будто неожиданно заметив мое присутствие, набросился на меня с раздражением:

— Зря бумагу портите.

Я подумал, что таково нелестное мнение генерала о моих литературных занятиях¹⁾, но он продолжал кричать:

— Протокол испачкали! Напрасно ротмистр вам разрешил. Безобразие!

Я заметил:

— Без этой оговорки я не мог подписать протокола.

— А чем, по вашему, занимался Совет Рабочих Депутатов? спросил генерал.

Я ему указал на комплект «Известий», лежащий перед ним:

— Прочтите. Здесь все написано.

Генерал ударил рукой по столу:

— Неправда! В Совете бомбы выделявали. Вот чем у вас занимались. Нам все известно.

Я возразил:

— Это просто вздор.

Генерал сердито спросил меня:

— А кто был председателем Совета?

Вопрос был явно ненужный. Почувствовав ловушку, я ответил:

— Не знаю.

Генерал вскочил в бешенстве:

— Как? Вы не знаете, что председателем Совета Рабочих Депутатов был Хрусталеv-Носарь? Да об этом все газеты писали. Вы, значит, газет не читали? Вы просто не хотите давать показаний.

— О том, что происходило в Совете, я, действительно, показаний давать не буду. Могу сказать лишь одно: на заседаниях Совета происходило именно то, что описывается в отчетах «Известий».

¹⁾ Я печатался в журналах с начала 1905 года.

— Прибавить ничего не можете? Пишите!

Он подал мне через стол бланк и, пока я писал, не сводил с меня пристального, злого взгляда. Когда я кончил, он перечел мои показания и сердито буркнул:

— Хитрости.

Затем так же сердито протянул мне заранее заготовленную бумагу и сказал:

— Вот это еще подпишите.

Это было постановление об изменении по отношению ко мне меры пресечения и о моем освобождении под надзор полиции. Итак, уже решив освободить меня за отсутствием улик, жандармское управление хотело напоследок попробовать, не удастся ли все же выпытать от меня что-нибудь интересное...

Жандарм, провожавший меня до лестницы, спросил, желаю ли я вернуться в тюрьму за вещами, или предпочитаю прямо отправиться домой. Я ответил, что предпочитаю ночевать дома. Дверь передо мною открылась, и я вышел на волю.

Был уже поздний вечер, улицы были почти безлюдны. Итти было далеко, — семья моя жила в Коломне. Я взял извозчика.

После одиночного заключения, была потребность поговорить с живым человеком, и я спросил своего «Ваньку»:

— Как теперь в Петербурге?

Извозчик ответил, не спеша:

— Ничего, слава Богу, теперь много лучше стало. Теперь порядок. А то, вот, свобода была...

— При свободе разве хуже было?

— Вестимо, хуже: гужи резали, ездить не давали, а ты ездил — не ездил, а хозяину три целковых подай...

* * *

О том, что ждало меня на воле, я расскажу в следующей книге.



ОГЛАВЛЕНИЕ.
1905-ый год.

От автора	7
1. В Университете	8
Студенчество в конце 1904 года. — 9-ое января. — Университетская сходка. — Лето 1905-го года. — Вступление в Р. С. Д. Р. Партию. — В подрайонном комитете. — Открытие Университета. — Начало университетских митингов. — Толпа и речи. — Коллегия митинговых ораторов. — Американские гости. — Конфликт с профессорами и Совет Старост. — Митинговая кампания и октябрьские дни в Петербурге. — Накануне всеобщей забастовки. — Тревожные дни. — Последний университетский митинг.	
2. Среди рабочих	111
Петербургские рабочие в 1905 г. — Первый раз в рабочем квартале. — Пропагандистский кружок. — Начало всеобщей забастовки. — Как родилась мысль о Совете Рабочих Депутатов. — Первые шаги С. Р. Д. — В дни забастовки. — 17-го октября. — Постъ манифеста. — Военный митинг. — Конец октябрьской забастовки. — Заводские митинги. — Большевики и С. Р. Д. — Союзное строительство. — Митинг околотовых. — Борьба за 8-часовой рабочий день. — Выступления черной сотни. — 29 октября в С. Р. Д. — За Невской заставой. — Кронштадтское восстание. — Начало второй забастовки. — На Путиловском заводе. — «Братцы рабочие!». — Конец забастовки. — Вторая забастовка и общество. — Польский митинг. — Локаут. — Последние усилия. — Чем был Совет Рабочих Депутатов.	
3. В деревне	277
Крестьянский вопрос в 1905 г. — Поездка в деревню. — Учительский съезд. — В крестьянской избе. — Конец съезда. — Митинг в сельской школе. — «Корова смерть». — Неудача. — Застава. — На стекольном заводе. — Нападение. — На ст. Боровенке. — Самосуд. — Глаза. — Арест.	
4. В дни разгрома	351
В Новгороде. — Тюрьма. — Освобождение. — «Финансовый манифест». — Арест Совета Рабочих Депутатов. — Кресты. — Третья забастовка и Московское восстание. — Жандармы.	